

Александр Терехов

КАМЕННЫЙ МОСТ

Премия "БОЛЬШАЯ КНИГА"

41
XII
18+

ВОЛК

Экранизация романа "Каменный мост"

Большая проза

Александр Терехов

Каменный мост. Волк

«Издательство АСТ»

2008, 2021

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Терехов А. М.

Каменный мост. Волк / А. М. Терехов — «Издательство АСТ»,
2008,2021 — (Большая проза)

ISBN 978-5-17-144658-1

Александр Терехов — автор романов «Немцы» (премия «Национальный бестселлер»), «Мемуары срочной службы», «Крысобою», «Бабаев». Бестселлер «Каменный мост» вызвал бурную полемику в обществе вскоре после выхода, был удостоен премии «Большая книга» и вошел в шорт-лист премии «Русский Букер», а также переведен на английский и итальянский языки. Сериал «Волк», снятый по мотивам романа «Каменный мост», был удостоен премии «Ника». Что можно увидеть с Большого Каменного моста? Кремль. Дом на набережной. А может быть, следы трагедии: в июне 1943 года сын сталинского наркома из ревности убил дочь посла Уманского. Но так ли было на самом деле? Герой романа Александра Терехова — бывший фээсбэшник — через шестьдесят лет начинает собственное расследование... «Каменный мост» — это роман-версия и роман-исповедь. Жизнь «красной аристократии», поверившей в «свободную любовь» и дорого заплатившей за это, пересекается с жесткой рефлексией самого героя.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-144658-1

© Терехов А. М., 2008,2021
© Издательство АСТ, 2008,2021

Содержание

Финский лыжник	6
Шашлыки	9
Мост	15
БКМ. Справка по делу	18
Пароход	22
Проблема	27
Маскарад	32
Море	40
Невидимка	45
Ищейки и собаки	51
Свидетели по существу	58
Смотрящий	63
Бухгалтерия	68
Шахурин: результаты наружного наблюдения	70
Отец и сын	76
Дачник	80
Соня	86
Тот, кто все видел	92
Облака	97
Библиотечный день	102
Кремлевские стены	105
Куйбышев, Куйбышева	111
Конец ознакомительного фрагмента.	112

Александр Михайлович Терехов
Каменный мост
Роман

* * *

© Терехов А. М.

© ООО «Издательство АСТ»

Финский лыжник

Ни разу в жизни я не занимал первого места. В воскресенье мало французов, немцев, англичан. Экскурсионные автобусы подвозят поляков, да таскаются безликие военные китайцы в мешковатых френчах. А что им? Гжель, платки, матрешки... Серьезные покупатели в Измайлово приезжают по субботам. Сегодня нечего ждать.

Я кивнул соседу Рахматуллину – тот торговал железом: самоварами товарищества Баташова, разнокалиберными гирями, замками, утюгами, колоколами и мельхиоровыми подстанниками кольчугинского завода с Кремлем – присмотри, и побрел к лестнице, ведущей вниз, под деревянный указатель (палец с насмешливой надписью «антиквариат») – на блошинный рынок.

Там, на продуваемых, неосвещенных деревянных балконах, бродяги, сироты, выбракованные школой, и гордые старухи раскладывали на одеялах и клеенках награбленный человеческий мусор из брошенных и отселенных домов: лысые куклы с закотившимися глазами, керосиновые лампы, жестяные коробки из-под монпансье и чая товарищества «Высоцкий и К°» со знаменитым корабликом на этикетке, квитанции фотоателье довоенных лет, елочные игрушки из цветного картона, почерневшие кофемолки, обрывки париков, словно скальпы... Попадались и оловянные солдаты, правда, редко, все больше пластмасса и уродцы из «киндер-сюрпризов», но в июне я всего за триста рублей купил на «блошке» прогрессовских «Солдат революции» в превосходном состоянии – у «солдата, идущего в буденовке» цела винтовка, только погнута, – и продал на «Молотке» за две сотни «бакинских». Еще рассказывали про старуху, просившую «хоть сколько-нибудь» за «красных казаков» сороковых, что стоят в Инете по полторы штуки долларов каждый. «Казаков» и на фотографии-то мало кто видел, и никто доподлинно не знает, сколько в наборе и каких, а у нее даже не было четырехсот рублей заплатить за место – вот только где эта старуха?

Ближе к воскресному обеду сюда, замкнув железными жалюзи свое добро, спускался ленивым барским шажком свободный вернисажный люд – знатоки икон и фарфора – поклевать легкую поживу, брезгливо поворошить ногой выброшенную морем дохлятину под нервное неприязненное молчание местных... Ничего, почти ничего, все ценное скуплено в ночь с четверга на пятницу у бомжей на платформе Марк – от скифского золота, нарытого «черными археологами» в Тамани, до маршальских мундиров с рубинами на погонах и пулеметных лент.

– Уважаемая, кофе!

Вьетнамка в белом фартуке толкала тележку с термосами, обернутыми целлофаном бутербродами и бачком с сосисками. Сливки? Взамен десятки я получил пластмассовый дымящийся стаканчик и успел сделать еще два шага.

– Да вон хозяин ходит... Василич, интересуются! Подойди!

Как весной случаются заимствованные дни, пахнущие осенью, так это сентябрьское воскресенье возвращало долги солнцем, синим небом словно оглянувшегося лета.

По-иностранному подкопченная солнцем морда с правильным профилем терлась у моих бойцов, схватила одного и крутила под носом. Я ускорил шаг, убавив глотком кофе, чтоб не расплескать. Кого он там сцапал, этот загорелый малый в черном пальто поверх белой рубашки, с полосатым шарфом, педерастически повязанным узлом под горло? Я присмотрелся.

– Хелло! Ит из скайер солжер оф финиш во. Икслюзив. Ван хандрид долларс.

Малый в восхищении крутил головой, встряхивал чернявыми кудряшками, смазанными каким-то жидким дерьмом.

– Можешь себе представить?! – подзывал полюбоваться приятеля плечистого водительского вида. – Сотку!.. – и поставил солдатику, чтоб лучше рассмотреть, на ободранный прилавок.

Безлицый оловянный лыжник в маскхалате, покрытом ошметками зеленой краски, двигал правую ногу вперед в неспешном ходу. Рукавицы, лыжные палки, ботинки, давно потемневшие черный цвет, автомат, висящий на животе дулом кверху... Отполированная тысячами прикосновений каска блестела тусклым свинцом. Один из моих любимых бойцов. Не все мне одинаково нравятся. Не люблю брянских «Моряков на параде» (и серебряных, и некрашенных), «Куликовскую битву», астрцовскую «Конармию», вообще все конные фигурки. «Столбики» мелитопольские не нравятся... Но собираю оловянных советских всех (масштабы 1:35 и 1:48) и продаю – лоток «Солдаты СССР».

«Водитель» оторвался от рахматуллинских самоваров, вглядывался с почтительного расстояния в хозяйские причуды.

– Лыжник финской войны. Солдатик, между прочим, *тридцать девятого года*. – Я прихлебывал кофе, барыга рассматривал наживку с умиротворенной улыбкой, намертво вклеившейся ему под нос... Вспоминает... В детстве он двигал, наверное, такого лыжника по пустыням летней пыли меж травяных лесов, огибая высохшие шнурки дождевых червей. – Всплывает раз в год по штуке. Я б своего не продал, товарищ попросил – ему деньги на лекарства нужны. Канадец в прошлом году такого на «Е-bay» за две сотни купил. Боец вообще-то уже проданный, человек за деньгами пошел, но если возьмешь – отдам. Иностранцам – сто евро, тебе – сотку долларов. Без торга.

Барыга заново осторожней положил солдатика на ладонь и приблизил к лицу – так разглядывают медальон с девичьей головкой в черно-белых добросердечных кинофильмах, его долго ищет в комоды и с усмешкой протягивает старуха: «Угадайте, кто это?.. я!», – потом подбросил и поймал, накрепко сжав пальцы.

– Аккуратней. Сломаешь – заплатишь.

– А вы? – Барыга улыбался задумчиво. Молодой еще мужик лет двадцати пяти, с губастым ртом и темными пустыми глазками; такая мразь в юности выглядит постарше, а в старости – помоложе. – Вы так одеваетесь... Как солдат. Вы – солдат? Будете вести боевые действия?

Говорил он, словно припоминая русский язык, блудливо поводя мордой. Я понял: гуляет пьяный... Перегнулся через прилавок и вдруг вцепился свободной рукой в воротник моего чумазого бушлата с хищной репейной цепкостью и захохотал – очень его веселили золотые пуговицы со звездами на бушлате:

– Получается, военнослужащий. Красная Армия! Следовательно, вы в состоянии воевать?

Я покосился на «водителя»: забери своего ублюдка! – и подхохотнул:

– Да все можно купить. И шинель. И шапку с кокардой. И кабуру с пистолетом. И корочки с фоткой. Главное, шоб баксы были. Баксы есть?!

Он отцепился и тут же загреб с прилавка стопку порыжевших книжиц. И посыпались, словно выпрыгивали из рук, Сталин «О Великой Отечественной войне Советского Союза», Сталин «Об основах ленинизма», «Календарь колхозника за 1943 год»... Одна застряла меж пальцев и развернулась сама собой. Малый тотчас начал читать с наугад взятого: «Нет больше так называемой свободы личности – права личности признаются теперь только за теми, у которых есть капитал, а все прочие граждане считаются сырым человеческим материалом, пригодным лишь для эксплуатации», – и захлебнулся. Он словно вспомнил о чем-то. Вглядывался растерянно в прочитанное – и губы шевелились, растягиваясь и смыкаясь, угловато или округло, и горло глотало, он словно понимал смысл, но не мог прочитать. Он так и торчал в одиноком забытии, пока тот, второй, не тронул его за локоть. И барыга ожил – захлопнул книжку, пробормотав трезво обложечное название:

– «Сталин. Речь на девятнадцатом съезде партии».

– Четыреста рублей.

– Несомненно. Там, обратите внимание, между страницами трамвайный билет. Пятьдесят второго года. На одну поездку. Тридцать копеек цена. В качестве бонуса... – сухо предположил он. – Билет неиспользованный, вам еще пригодится. В хорошем состоянии книжки, – барыга неприязненно взглянул на меня. – Это вы их набираете в походах *туда*?

Так, хватит улыбаться. Легкий страх... Допить кофе и еще чуть-чуть подождать, поглаживая небритой щекой воротник бушлата... Пьяные умники хуже, чем пьяные скоты.

Он оборвал, что-то решил:

– Ну, довольно. Где финский лыжник?

Пять пятисоток – боец спрыгнул с загорелой ладони в карман черного пальто, и двое стремительно и озабоченно двинулись прочь вдоль рядов, не останавливаясь больше, мимо пробитых пулями касок, водолазных и танкистских шлемов, чугунков, икон Николы Можайского, прялок, льняных сарафанов, пионерских горнов, матрешек, каминных решеток и абажуров с мохнатой бахромой, патефонов, алых знамен передовиков социалистического соревнования, берестяных шкатулок и коричневых екатерининских пятаков в сторону главной лестницы, обложенной косматыми медвежьими шкурами и кабаньими мордами с желтыми клыками, обставленной чучелами оскаленных горностаев и соболей.

Проводив их взглядом, я натянул рваные вязаные перчатки и начал складывать солдатиков по жестяным банкам из-под печенья и чая по сериям: «Матросы Октября», русские богатыри на Чудском озере, «Куликовская битва», стоячие «гвоздики», «Матросы в бою», всадники маршала Буденного, знаменосцы-гиганты десятисантиметровой высоты, «Солдаты революции», телефонисты, регулировщики движения с острыми флажками, лежащие пулеметчики, подносчики пулеметных дисков, мотоциклисты из бесчисленных полчищ, «Солдаты в походе» и «Солдаты в бою» Брянска, Ленинграда и Мелитополя, полковые музыканты, редко попадающиеся медсестры, выкрашенные зеленью и серебром, сидячие пограничники с овчарками, пехотинцы-лилипуты Минского моторного завода с командиром, башкою вросшим в бинокль, безродные одиночки из неопределенных серий с пятнышками розовой краски на месте лиц – около четырех сотен, – коробки сложил в чемодан, обклеенный изнутри газетой, сверху набросал книжки и клацнул замками.

– Развел. Как детей, – похвалил Рахматуллин. Он расставлял нарды. – Решил пойти? Чего так рано? Такой почин сделал... Постой еще – деньги придут!

Шашлыки

Задами, через «аллею живописцев», где терлось поменьше публики, я пронес погромы-хивающий чемодан к бревенчатому терему у спуска к центральной лестнице – там впотьмах предлагали купить кубачинские кинжалы из трагически подсвеченных витрин и принимали на хранение чемоданы – пять долларов за неделю, – и отправился мимо голосащих под электромузыку «ветеранов чеченской войны», уж лет пять как сменивших «афганцев», и дымной шеренги мангалов в обход, к южной ограде вернисажа, проломленной соседней стройкой, – грунтовка, набитая самосвалами, вела почти до самого метро.

– Шашлычок? Баранина! Свининка!

– Нет. Спасибо.

– Как нет?! Ша-шлы-чка! – в плечо когтями впился и загораживал путь краснощекий малый с бритой башкой, галстук, костюм, и с нахрапистой милицейской сноровкой пихал к распахнутой двери кафе «Городец», подпертой половинкой кирпича, к ступенькам наверх, на веранду – больно пихал, до синяков, не пускал обойти. Дыхание сбилось, и, трухнув и вспотев, я безнадежно взглядывал на черных шашлычников крымчанина Мамеда, переставших размахивать картонками над нанизанным мясом, знакомых официанток в белых фартуках поверх вязаных кофт. Что же? Кричать? Но ведь белым днем тащил он меня... поговорить? Паспорт... Как чувствовал: паспорт взял и квитанции за аренду, и люди кругом вон смотрят – люди, и если за тобой пришли, полагалось идти, пока ты нужен.

Загорелый барыга с шарфиком на горле (как я ошибался, приняв его за тупорылую валютную скотину) присел в углу, макал мясо в кетчуп, подбирал вилок луковые кольца. Официантка сгружала ему чай, он показал: еще стаканчик. Набив рот, приветственно прижмурился, показал на свободный стул напротив и сосредоточился на шашлыке – небось, жилистый, не жует, тварь!

Тот, что меня притащил, уселся на лавке за ближним столиком с водителем барыги и взялся за чай, разорвав на четыре куса лаваш с подкопченной круглой вмятиной посредине.

Я со вздохом опустил на стул с дыркой, сердечком вырезанной в спинке, установил локти на стол, сцепив руки под подбородком. Потом руки расцепил, бросил на колени. Откинулся на стуле. Вытянул ноги под столом. Подумал и – поджал. Все оказывалось неподходящим. Я обедал здесь дважды в неделю, все знал наизусть, а не сиделось спокойно.

Барыга дожевал свой кусок, вытер губы салфеткой, свернул ее в аккуратную подушечку, разместил в пепельнице и выставил на стол солдата финской войны.

– Завидую вам. Свободный человек! Не высидите в конторе. Остались ребенком. Играете в собственное удовольствие до седых, как я вижу, кое-где волос... Да еще за это платят! Самостоятельно распоряжаться своим временем – это правильная цель жизни мужчины. – Он поднял указательный палец. – И не иметь хозяина. Моя мечта... Собирать старые игрушки и – продавать; прекрасно! Что это? Творение? Смотря для чего вы это... Вы считаете, что собираньем кусочков прошлого можно что-то изменить? У меня, кстати, есть собственная теория про мужчин, заигравшихся в солдатики... А?

Официантка тетя Маша принесла еще чай с лимоном и забрала тарелку с луковыми огрызками и обмелевшей лужицей кетчупа.

– Рассчитаетесь?

– Пейте чай, – кивнул барыга, отдавая деньги. – Я заметил, у вас некоторая асимметрия в фигуре, правая часть тела развита меньше – никто не говорил? В лице особенно заметно. И рука левая, наверное, потеет сильнее при физических нагрузках? Еще у вас синдром навязчивых движений: губы вытягиваете вперед, облизываетесь, трете подбородок... Вы не аллергик? На цветение не реагируете? Правда, сейчас осень... – Он незаметно достал откуда-то из-под

стола и глядящим движением руки доставил на мою половину столешницы страницу с черно-белым изображением, оглянулся и прошептал, донеся до губ чай: – Вот она.

Я не стану смотреть...

Распечатка на принтере, фотобумага, формат А4.

– Потрясающая. Столько лет прошло, а все равно – сносит крышу, – усмехнулся барыга. Помолчал, давая прорасти упавшим зернам, и добавил с осторожной мягкостью: – Вы можете получить возможность посмотреть еще несколько ее фото. Других.

Девушка не выглядела запоминающе красивой. Густые пышные волосы окружали широкое, подростково пухлощекое лицо. Ямочка на подбородке. Нерусский, тонкий нос с едва угадываемой горбинкой и загнутым вниз овалом ноздрей. Верхняя губа чуть выступает вперед, выдавая изъязн челюстного строения или праздную поимку фотомастером внутреннего движения: готовящуюся улыбку, угасающее слово...

Если закрыть ладонью нижнюю половину лица и взять отдельно широкий чистый лоб, отчетливо прорисованные брови и, самое главное, глаза, получится необыкновенно милая девушка. Глаза со спокойной ясностью смотрели за правое плечо наблюдателя – в них плескалась живая вода. Но если убрать ладонь, в целом оставалась здоровая юность, не более.

Волосы нелепой длины – едва до плеч – завивались на концах. Прическу организовывала темная лента, обнаруживавшая себя бантиком, расположившимся надо лбом, – эта двукрылая бабочка относилась момент фотографирования самое меньшее на полвека назад и усаживала девушку за парту выпускного класса. Одежду представлял строгий жакет под горло; в кадре поместились две круглые металлические пуговицы с нехитрым узором – рубчики по кругу.

– Она мертва, – сухо уточнил барыга, словно это имело какое-то значение. – Разрывная пуля попала в ее затылок с небольшого расстояния 3 июня 1943 года, и пятнадцатилетняя роковая красавица стала урной на Новодевичьем кладбище. Нина Уманская, слышали когда-нибудь?

Люди намного моложе, и сильнее, и лучше одетые никогда не вызывают у меня ненависти. Ощущаю другое – лень подобрать слово. Я не чувствую тепла, когда ко мне приближается еще один пока живущий... Барыга тронул оловянного лыжника: вот что я купил за сотку долларов – пустые разговоры.

– Удивительная прозорливость конструкторов советской военной игрушки... Вы заметили, у воина советско-финской войны, отлитого, по вашим словам, в тридцать девятом году, пистолет-пулемет системы Шпагина, калибр 7,62? А ведь знаменитые ППШ в производство-то пошли только в декабре сорокового... Да и по весу – чувствуете? – цинк, алюминий, магний... Самое позднее – середина шестидесятых. – Он выудил из чашки толстошкурую лимонную дольку, собираясь вгрызться в нее, но поразглядывал и отправил на блюде – чем-то не подошла. – Живете обманом?

Какое-то время мы помолчали, нет – помолчал он, я бросал взгляд на ворота вернисажа, на торговые терема, укрытые фальшивой черепицей из резины, на свежоотстроенный павильон нижегородских народных промыслов, барыга, как мне представлялось, примеривался закатать мне в морду. Официантка попыталась уплотнить наш стол парой англоязычных пухлощеких очкариков, но одним шевелением охранные туши растворили ее в цыганистых югославах – те шумно сдвигали столы.

– Суть дела, – отчетливо произнес барыга, в голос его капнуло раздражение. – Идет Великая Отечественная война. Начало лета. Уже позади Сталинград, но Курская дуга еще впереди. У дипломата Константина Уманского удивительно красивая дочь Нина, вызывающая у всех, кто ее хотя бы раз видел, сверхъестественный трепет души. И тела. Девочка учится в элитной школе вместе с детьми кремлевских вождей. Там же, кстати, учится и дочь Сталина. В Нину влюбляются многие. Особенно Володя Шахурин. Мальчик также из знатной семьи – сын народного комиссара авиапромышленности. Заканчивается седьмой класс, сдаются экза-

мены. Константин Уманский получает назначение послом в Мексику. Пятого июня он должен вылететь с семьей к месту назначения. Володя Шахурин провожает возлюбленную домой. Повидимому, просит – тринадцать-четырнадцать лет! – не улетай, я очень люблю тебя. Девочка, вероятно, не соглашается. Володя достает из кармана пистолет и стреляет Нине Уманской в затылок. Наповал. А потом – в висок себе. Но какое-то время еще дышит. Около суток. И умирает. Дело докладывают Сталину, он восклицает: ух, волчата! В русской истории остается пометка: «Дело волчат».

Он подтащил фотографию обратно к себе, пощупал, словно проверяя, не намочил ли ее неисправно вытертый стол, и спрятал.

– Скучно, верно? Шизофрения, подростковый психоз неразделенного чувства. Все настолько скучно и ясно, что хранить «Дело волчат» берутся только маразматика и пошляки: наши Ромео и Джульетта! – вот что осталось, и поэтому ужасно пахнет дерьмом... Но ведь никому... – барыга перегнулся ко мне через стол, все, что он говорил теперь, казалось ему чрезвычайно важным, щеки горели и голос ослабел до едва различимого шепота, – никому до меня не пришла в голову простейшая мысль: откуда такая ясность? Что говорил мальчик? Что отвечала девочка? Откуда уверенность, что любовь... Чего он добивался... Девочка убита. Мальчик мертв. И никто не слышал их разговора, ведь Бога нет. Так что же или *кто же* тогда внушает нам такую ясность? – Он вдруг улыбнулся пьяно. – Чувствуется рука специалиста. Кто-то основательно поработал на будущее... Зачем-то! Русские Ромео и Джульетта! Волчата! И кто-то уверен, что *все получилось*. Что всех обманули и никто не вернется копать. Ошибаются... – И закончил с игривой педерастической интонацией, словно подслушанной в нерусском кино: – Дорогой мой, я хочу, чтобы вы туда *отправились*. Надо все поменять.

Он давал мне возможность кивнуть или хотя бы шевельнуться, я же сосредоточился на том, чтобы сесть как-то поудобней, а еще лучше встать и пойти в сторону метро, купить копченых куриных крылышек, лаваш и бутылку ледяного «Очаковского» кваса и наплевать. И только рассказывать в скучные минуты, как продал солдатику в воскресенье.

– Поспешайте. А то все скоро умрем и некому будет строить плотину, чтобы остановить эту... воду. – Он выкатил главное: – Я хочу знать, кто их убил.

Удостоверившись в моей немоте, барыга (неужели охрана не понимает, что пасет больного?!) заговорил свободней, не ожидая в ответ ничего, что могло бы взорвать проложенные им рельсы.

– Кто убил. И почему. На картину привычную взглянуть словно впервые, глазами ребенка, чужеземца. Это работа для человека, любящего фотодело. Взгляд фотографа меняет объект съемки, если фотограф имеет, так сказать, особое отношение к объекту... Вам не приходилось фотографировать обнаженных женщин перед тем, как с ними быть? – Он приостановился и глумливым подмигиванием дал понять, как доволен: попал. Я не дрогнул. Но не я команду кровью. Кровь хлынула в шею, щеки, уши, забившись тупиково в руках. Как в любой дешевой истории (а только в дешевку они мечтают попасть!), они отпустят меня «подумать над их предложением», это паутина. – Мне нужны новые фотографии. С прошлым можно сделать абсолютно все.

У меня другое мнение о прошлом. И я бы еще спросил: а что происходит при этом с фотографом?

– Я мучился: к кому бы обратиться... Беда России – ремесленники не вырастают в мастеров, все хотят быстрых денег... Никто не жаждет красивой работы... – Он неожиданно вильнул и ударил: – Не посещаете портал «Последняя граница»? А? Я вот – да. А что – прикольно... Весь этот Нью Эйдж, пятая раса... Новые культы. А сколько там молодых... Богиня смерти Кали...

Он улыбался мне дружески-опечаленно, как охотник улыбается лосиной мертвой туше, заставившей его побегать. Поставив болотный сапог на горло добыче.

– Там довольно подробно выкладывали стенограммы одного суда. Но я не буду детали. Там что? Уход молодого человека, фактически ребенка, в секту – трагедия. Брошена семья, возлюбленные, профессия. Имущество отдано учителю. Сознание – полностью... – он соединил пальцы правой руки в щепоть и потер ими, протерев дыру в невидимой ткани. – Голодание. Медитации. Наркотики... Законных оснований вернуть мальчика-девочку нет. Свободные совершеннолетние люди, сами выбрали, во что верить. А футбол не нравится. Родителям больно: растили-растили, так сказать, цветочек, а он теперь служит, как собачка, какому-нибудь там трижды судимому алкоголику и возвращаться не хочет. Вообще папу-мamu не узнает. Что вера-то делает, а?

Что же остается, Александр Васильевич, родителям? (*Имя, вдруг мое имя!*) Страдать! И ждать. Отработанный материал вернут – инвалиды любой коммерции обуза. Родители получают инвалида – и никакие походы к психиатрам не вернут человека в мир, где жарят шашлыки, совершают поездки на море в Египет, рожают детей, продают, к примеру, солдатиков. Остаются полутемные комнатки, запах лекарств, бормотание мантры, избыточное слюноотделение – навсегда! Мы, конечно, с вами рассуждаем как подданные телевизора, товаров и цен... Но так все! Известно же, что совесть и душу наука не нашла, а русский народ не смог доказать их существование опытным путем.

И выхода, уважаемый Александр Васильевич, казалось бы, нет. Но идеально устроенный организм в процессе развития сам делает себя уязвимым, чтобы мировое равновесие сил не нарушалось. Секты интересуют прежде всего богатые семьи. Но богатые не готовы так вот запросто отдать детей какой-нибудь там уголовной «Церкви конца и начал» Дэвида Медфорда. Богатые не признают страданий, деньги – это рай.

Так, милый Александр Васильевич, и возникла платная услуга. Насильственное депрограммирование. Похищение. Лечение. Возвращение семье. Не слышали? И я верю: деятельность депрограмматоров и посейчас мало, скажем так, освещена. Секты молчали о пропаже своих дойных коров. Так могли и собственные трупы засветиться – у всякого производства отходы. Искали пропавших силами собственных служб безопасности и ребят, которые, выразимся аккуратно, прикрывали их бизнес. Там, во тьме, беззвучно шла война: штурмы квартир, похищения, внедрения агентов, обмен заложниками, говорят, и перестрелки случались... Нет? С трагическим исходом.

Свет пал в эту тьму случайно. Один из спасаемых юношей выбросился из окна конспиративной квартиры в Беляеве во время оздоровительной процедуры. И сломал, между прочим, позвоночник. Сычужников. Помните его? А вот он лично вас как-то выделял... И очень боялся, что его добьют в больнице. Симпатичный малый, на вид довольно вменяемый. Если долго с ним не разговаривать. А в телевизоре долго не разговаривают: зрителей растрогал – и довольно, тут еще выборы, коррупция в органах – тема... И тотчас в милицию, о чем-то договорившись, понесли заявления все: кришнаиты, «Дерево денег», богородичники, муниты, мормоны, сайентологи, «Дети Бога» и даже остатки «Белого братства». До сих пор доподлинно неизвестно, как депрограмматоры «лечили». В заявлениях, кроме похищений, фигурировали пытки, избиения, лишение пищи и сна. Применение психотропных препаратов. Принуждение к тяжелому труду. Вранья хватало? Да, наверное. Это ж политика. Но мы с вами, дорогой мой, рассуждая без соплей, можем предположить: депрограмматоры, скорее всего, клин клином, использовали те же средства, что и новые культы по дороге «туда», пытаясь вернуть проплаченного «обратно».

Кстати, некоторые из молодых людей, возвращенных в рыночную действительность, дали показания в суде – да, вот так. Благодарности нет! Точное число похищений не установили. Больше шестидесяти? Родителям приходилось выкладывать от ста тысяч долларов в сложных случаях. Дети несостоятельных граждан депрограмматоров не интересовали. Хотя бедняки

выходили на них. И молили вернуть кормильцев в семьи, к грудным детям... Я почитал – страшные истории. Растрогался бы камень. Но не вы.

Среди задержанных – как же вы ничего не слышали... гремело! – нашлись отставники и действующие сотрудники органов. Сразу подключилась служба собственной безопасности МВД, фээсбэшники. Арестованы сорок два человека, шестнадцать осуждены. Следствие продолжается. По вновь открывающимся эпизодам. Не всех пока нашли.

Барыга смотрел на меня не отрываясь. И я безвыходно понял: мне придется сделать это у него на глазах. Вытереть пот со лба, с бровей и верхней губы, вытереть руку, расстегнуть, разорвать пуговицы бушлата, сверху донизу. Облизать зудящие губы. Дальше.

– Есть человек в розыске ФСБ... Еще его пытаются найти так называемая информационная служба «Церкви конца и начал» с помощью, между прочим, измайловской ОПГ, – он усмехнулся подобному совпадению и впервые позволил себе оглянуться на терема измайловского вернисажа, пропекаемые неурочной жарой, – бабье лето, вот что это такое. – Он не похищал. Не участвовал в пытках. Занимался только разработкой клиентов. Окружение, связи жертвы... или спасаемого? Даже не знаю... Просчитывал, кого из близких использовать при возвращении похищенного в прежнюю жизнь. Вот, подумал я, тот, кто сможет мне помочь. Этот человек. И его люди.

...Красив и ухожен. Из тех нынешних, что втирают крем и делают ногти в салоне за стеклянной загородкой. Возможно, и мокрые смоляные кудряшки его – плоды чьих-то оплаченных усилий. Только молодость он не купил. Ее ему дали. Победную, сильную молодость, что подбрасывала сейчас чужую жизнь на ладони, как дырявую ракушку, подобранную на крымском побережье.

– Я изложу вам ход моих мыслей. Что делает секта с новобранцем прежде всего? – И он выпалил: – Уничтожает личное прошлое. Прошлое не нужно, оно не ведет к спасению. Чтобы владеть человеком, нужно стереть все прожитое и заполнить пустоту заповедями учителя. Работник, о котором я говорю, напротив, возвращал жертве прошлое, помогал вспомнить... Но если учесть, что люди попадали в его руки с совершенно измененным сознанием, пустые, белые, бумажные коробочки... Совершенно улетевшие люди. Вспомнить они почти ничего не могли, и прошлое... – барыга усмехнулся одними глазами, – работник писал заново. По своему усмотрению. Улавливаете? И, важный момент, он делал это бесплатно. Следствие установило: он единственный не получал денег – это мне особенно пришлось по душе. Что такое деньги в сравнении с его занятием? И я сказал себе: о'кей. Вот кто мне нужен.

Около сорока лет, чуть выше ста восьмидесяти. Темные волосы. Седина. Бывший историк? Хотя кто-то показал на следствии, что видел его в Высшей школе КГБ в период учебы. Вряд ли он убежал, думал я... Упал в почву, на какой-нибудь вонючий вьетнамский рынок, – он заново окинул меня взглядом, – коротко подстригся, армейская форма... Единственная деталь, я даже не знаю, правда ли – собирает солдатиков. Как-то по-детски. Но символично, согласитесь. Я понял: он продаст квартиру, потеряет паспорт, но игрушки пойдут за ним. Людей, имеющих в России и на Украине серьезные коллекции, оказалось немало, девяносто два. Два салона – на Якиманке и ЦДХ. Два сайта. Но это профессионалы. А искать нужно любителя.

Свидетели настолько противоречили друг другу, что не удалось составить даже фоторобот. Я угадывал: под каким прикрытием он мог работать? А? Копался, сопоставлял и в архиве сайта Московского отделения общества сознания Кришны нашел новость: четыре года назад ашрам на Хорошевском шоссе неофициально посетили сотрудники отдела внешних сношений Русской православной церкви. В ознакомительных целях. И там выложена фотография, вот, – еще один, теперь уже квадратный кусок бумаги приехал по столу поближе ко мне. – Явно против воли запечатлели четверых. Четвертый – тогдашний лидер московского отделения Субхадра Дас. Он нам не нужен. Видите, гости выходят из ашрама. Договоренности фотографироваться не было. Все, кроме Субхадры, пытаются отвернуться. Кришнаитам было важно

получить доказательство хоть каких-то контактов с Православной церковью. Посмотрите – как жаль, что вам это совершенно неинтересно! – кто попал на фотографию: это диакон Андрей Вострецов, слева отец Алексей Правдолюбов, третий, вот его видно хуже всего – сотрудник «Вестника Московской патриархии» Николай Костромин. Именно он, кстати, попросил показать не только кухню и идол Брапхупады, но и общежитие. Гости заглянули еще в книжный магазин, на звукозаписывающую студию. На кухне их пробовали накормить прасадом, но есть идоложертвенную пищу они, естественно, отказались.

Через три дня из ашрама похитили двух кришнаитов. Конечно, совпадение! Я решил встретиться с Костроминым. Меня мучило предчувствие, что человека по фамилии Костромин в «Вестнике Московской патриархии» нет. Я оказался неправ, он есть. Заместитель главного редактора. Но встречаться со мной Костромин отказался наотрез. Почему?! Я думаю, потому, что на фотографию угодил совсем другой человек. В патриархии меня вообще уверяют, что это фотомонтаж. Я больше ее никому не показывал. Только двум коллекционерам советской военной игрушки, чтобы проверить одно дикое предположение, а теперь, видите, вообще рву... – он разорвал фото опереточно мелко, да, посмейся надо мной. – Хотя кришнаиты ее хранят. А вот эту фотографию я вам оставляю. Вполне достаточно, чтобы начать.

Он поднялся и шлепнул меня по плечу паскудным господским жестом. Как пса.

Я подождал, словно меня должны были забрать куда-то еще для дальнейших опытов, но больше ничего не случилось.

Мимо распродажи армейских рюкзаков и камуфляжных курток они – трое – вышли к воротам. Их ждал омовонец в черном берете с пистолетом-автоматом на плече, взмахнул рукой – подъехали черный «БМВ» с мигалкой и милицейский «лендровер» сопровождения, распахнулись дверцы. Барыгу усадили в первую машину, охрана бегом расселась... Все. Они перебрались в зрительный ряд и теперь будут смотреть, как я бегаю на цепи.

Я записал в мобильный телефон бортовой номер милицейского джипа и крытой галереей спустился на лодочную станцию измайловских прудов.

Лодки на час за сто двадцать рублей и паспорт выдавали желающим два чеченских мальчика лет двенадцати, объясняя правила: с бортов не прыгать, к другому берегу не приставать. Я сидел на каменных ступеньках, сжав ладонями лоб. Молодая поросль, дожидавшаяся свободных лодок, сочувственно подставляла мне под ноги пустые пивные бутылки. Я подумал, как думал всегда: завтра уже будет по-другому. Пройдет ночь, и человек просыпается другим. Тело отдохнуло, солнце освещает углы. И убить тебя не кажется возможным.

Я достал из кармана фотографию девочки Нины.

Распечатку на принтере он почему-то забрал. Оставил мне фотографию вчетверо меньшего формата, с цифрами фотолаборатории на обороте <No-36A>010. Лучшее качество печати сделало заметным жакет убитой, плотный и ворсистый, волосы пушатся серебристым сиянием над головой, чуть задышала кожа. Позже, бессмысленно разглядывая лицо, я понял, почему он заменил снимки: он оставил мне отпечаток с другого кадра – теперь девочка смотрела прямо в мои глаза с грустным и вопросительным спокойствием. Живой человек, разомкнутся губы – и сейчас что-то скажет. Старшеклассница из соседнего подъезда... Я разорвал ее лицо пополам и выбросил в помойное ведро для окурков.

Мост

Человек выходит из подъезда ранним вечером. Уже холодно. В руке его белый конверт. Что за письмо он несет в синий ящик почты? В конверте бесплатное объявление – он продает недостроенный дом: мечтал построить пять лет и пять лет пытался, – продает землю.

Он не возвращается от почтового ящика сразу. Идет вдоль сентябрьских дорог, трава, расцвеченная васильками и клевером, еще прет из земли, но уже голо торчат верхушки тополей и подножья дубов завалены ржавчиной, гниют каштановые скорлупки – вот наступает время прилива, и мы уходим под крыши, начинаем жить в метро, на чужбине. Иссохлось, укоротилось лето, от бескрайней летней страны мальчика осталось двенадцать недель, месяц жары, хотя мальчик жив. Подолгу стоит напротив светофора. Поднимает ногу, чтобы сделать шаг. Голуби и вороны... В другом городе он видел птичьи стаи, слышал их гомон, они рваными знаменами кружили, проходя сквозь друг друга, и утекали к теплу.

Из этого города птицы не улетали. Кленовые листья умирали, сторонясь бурых и жухлых собратьев других пород, на чьих лицах проступала простая, земляная смерть. Клены тужились дотянуть до дворницкого дымного костра гладкими и цветными.

В августе рубль обвалился, жизнь затрещала, я не верил в гибель Сбербанка и народное восстание, но все забирали деньги, и я каждое утро в половине десятого утра звонил в отделение Сбербанка на Новопетровской: выдаете? Валюту выдавали частями.

Заведующая выложила последние три тысячи, распишитесь в трех экземплярах – закрываем счет. Я поймал шариковую ручку, висевшую на мохнатой бечевке, погладил выброшенные в окошко потрепанные бланки, нащупав место для подписи, отмеченное, словно оспиной, фиолетовой галочкой.

– Спасибо.

От соседнего окошка не отходил седой: дайте мне деньги!

Олег Семенович, пенсия еще не пришла! Мне не нужна пенсия – дайте мне деньги! Олег Семенович, деньги еще не поступили. Не поступили? Всем дают, а мне нет, где мои деньги?! В министерстве финансов, у Ельцина. Я и пойду к Ельцину. Я не просто, я (корявый палец уткнулся в нутро красных корочек) ветеран войны.

И мне нету денег?! Не надо пить, и будет денег хватать, идите к сыну, он даст вам денег. У меня нет сына! Тогда идите к бабушке своей...

Десять округов Москвы, дачные поселки, города Подмосковья... Я остановился: к кому? Свежие месторождения или брошенные шахтерские поселки? Из опустевших золотоискательских бараков выпирали дряблые животы с утонувшими в складках пупками, бородатые лобки, вонючая слизь во влагищных глубинах, толстые языки, незагорелые кожи, усатые рожи, железобетонное знание: как сразу после паскудно... Как мгновенная мерзость закружит уже при первой судороге, уже в миг плевок в липкую нору, и распухнет совсем в минуту отлипания, отваливания, неизбежных слов и поглаживания по законам служебного собаководства, и долго еще потом покатается на твоих плечах – до подъезда по месту прописки, до горячей воды и горсточки жидкого мыла, до подушки, до муторного утра, щетины в зеркале, ее трогаешь, как живую: шевельнется – нет? Я давно уже понял: все, что мне нужно, находится не в чужой постели. Но эту истину приходилось доказывать себе раз за разом. Иногда по несколько раз на дню.

Хотелось свежих материалов с несуществующими тайнами, с замиранием первого обнажения, колокольных ударов сердца, преодолимыми препятствиями счастливых замужеств, необходимости задерживаться на работе допоздна, техники нажатия квартирного кода – тремя пальцами сразу или поочередно одним, болезненной проницательности свекрови Виктории

Самойловны – незнакомых телефонных номеров-квартир, где в семи цифрах жили родители, соседи, бабушки с феноменальным слухом, вьедливые шаловливые братья, собаки, перекусы-вающие провода, отцы, бесшумно снимавшие трубки на параллельной линии; где по телефону отвечали из ванной под шум стиральной машины, из кресла, забравшись с ногами, с балкона над шумящим Кутузовским, в коротких халатах, в полотенце, ни в чем – сколько он обжил таких квартир, не переступив порога! Хотелось инопланетную, новую улицу, какую-нибудь там Марины Расковой или 26 Бакинских комиссаров с ортопедическим диспансером во дворе, с «мне так нельзя, так мне нравится больше», с «я боюсь, что мне так будет больно»... Я подумывал о кукле из резины, хотя стоило, возможно, оглянуться на собственный изъяс, вертевший мной особенно безлюдным голоногим летом – от засухи к ливню... Повыбрав, я позволил ближней: сегодня, сейчас, да я просто уезжал, звонил и тебя просто не было на месте, я просто подъеду к твоей работе, где ты теперь? На Кржижановского, нефть и газ, компания «Сибур». Ты узнаешь меня, я – метр восемьдесят четыре, мне тридцать восемь лет, и пробивается седина, в левой руке у меня будет правая рука.

– А ты легко узнаешь меня потому, что я очень красивая женщина.

Шла и улыбалась, красные долгоносые туфли, черно-белая юбка на широких бедрах... Мы пересекли улицу ради заведения, блуждавшего между баром и кафе, официант и бармен в белых рубашках (возможно, считая себя кем-то другим – заведующим производством и менеджером зала, например) запрокинули морды под солнцем на крыльце, подсунув под зад пластмассово-белые стулья. Из растворенных окон выдувались желтые занавеси и радио «Динамит FM», полная громкость, потише, лучше выключить... Она листала заламинированные страницы меню – официант кивал: все имеется, – в маленьком зале на три стола, на стене картина прежнего вида города Москвы с желтым куполом еще не взорванного храма Христа Спасителя за мостом. Я смотрел на ее южные, коричневые плечи (зачем? сразу в сауну на Крылатские холмы!), расспрашивал, воскрешая детали объекта, выключатели, расположение комнат: дочка все танцует в «Непоседах»?

Подруга твоя та вышла тогда замуж за француза? Отца взяли на работу? В Астрахань ездила? Ты же хотела. Я? Теперь занимаюсь торговлей. Ничего не случилось. Может, не выпался.

Не сговариваясь, обернулись в окно – официант скорым шагом преодолевал улицу, целясь в магазин «Диета» на углу, покупать все, что заказали.

Она произносила легкие слова, смех, я захлебнулся, почуяв чужое, словно увидел в первый приезд на перезимовавшую дачу раскиданные, испоганенные чужими лапами вещи, вывороченные из шкафов ящики, – что-то мешало ей говорить и бульк-бульк – поперек голоса, вот сейчас засунет руку в горло по локоть и выдернет – начнет с повседневного сора, затем бегло покажет дыру – *то*, как неважное, как новое, неудачное фото, только из своих рук, и забросает опять шелухой, чтобы не молчать тяжело, чтобы жизнедеятельность продолжалась, поддерживаемая негазированной чистой питьевой водой «Шишкин лес» со льдом.

– У нас сокращения. Никто ничего не знает точно. То говорят, всех разгонят и «Газпром» приведет свою команду. То – поменяют только руководство и повысят зарплаты. Я решила вернуться к мужу, – сказала она.

В пустом зале, под кондиционерами, я увидел, что вот – еще сидим напротив, еще вернется из магазина официант, уложит в тостер ломтики хлеба с сыром и ветчиной, нарежет клубнику и бананы для фруктового салата, выдавит шарики шоколадного мороженого, еще немало ждать, потом жевать и не умолкая говорить, но сегодня я ее не коснусь, по ту сторону жизни разверзлась дыра – подуло снегом и другими годами; я схватился за стакан, как за опору, и закрыл им морду под обвинительные оправдания:

– Устала засыпать одна. И просыпаться одна. И дочка очень просит. Ты знаешь, он очень изменился. Говорит, что все понял, пока меня не было.

В сауну она не поедет. Через полгода позвонит. Но это все равно что сдохла. Убитое время. Не даст ли она прямо тут, напоследок? Официант еще не скоро... Поднять юбку и посадить на колени эту любительницу чулок и трусов с разрезом вдоль промежности. Затолкать ей всухую по самый корень и чтоб попрыгала... Что не успел я узнать про нее?

– Ты заплетаешь когда-нибудь волосы?

– Каждый вечер. Я сплю с косичкой.

– Теперь будешь спать не только с косичкой... Конечно, переедешь за город?

Выложив главное, сейчас она отвечала с усилием:

– Деревня Ложки. В Солнечногорском районе.

– Женщина помогает по хозяйству. Водитель привозит продукты. Три собаки, бультерьеры.

– Две. Бультерьер и леонбергер.

– Три этажа в доме?

– Четыре. Сауна и бильярдная в цоколе. А ты? Чем торгуешь? Антиквариат?! Какие планы у тебя?

Я всмотрелся в картину за ее спиной, наморщился и прочел название. Оказывается, картина изображала главным образом мост, а не храм, взорванный при императоре Сталине и позже клонированный на месте плавательного бассейна.

– У меня? Ну, я займусь... Вот – Большим Каменным мостом. Пора с ним разобраться.

– А где этот мост? Что в нем такого?

Со сдохшей я проговорил еще час. Смял и оставил в тарелке бумажку с номером ее нового мобильного. Допил два глотка еще не нагретой воды, льда не осталось. Бело-синяя этикетка на пустой бутылке. «Шишкин лес. Чистая питьевая вода. Негазированная вода из артезианской скважины № 1–99. Изготовлено в России. Московская обл., Солнечногорский район, д. Ложки» – вот откуда она прочла адрес своей изменившейся жизни. Но что это меняло?

БКМ. Справка по делу

Большой Каменный мост признан лучшим местом для разглядывания Кремля и русской жизни, названной Черчиллем «тайной, покрытой мраком». Мне определение бегемотистого англичанина кажется пошлостью. С моста открывался «лучший вид» еще со времен Корнелия де Бруина (голландца, картинам его триста лет) до заставок в советских телевизорах перед программой «Время», заменявшей вечернее богослужение. Однажды весной по мосту проехал Юрий Гагарин – из Внуковского аэропорта на Красную площадь и в вечную память.

Вид на противоположную сторону продавался «во-вторых»: храм Христа Спасителя (с перерывом на бассейн) и Второй дом Совнаркома (прославленный Трифоновым как Дом на набережной) – общежитие строителей коммунистической башни, правильная, не стыдная роскошь, улей, заполненный медом. Райские поляны. Жителей пятисот квартир время попозже, если не выражаться кроваво, *поменяло* – как несломленно сказал император Сталин президенту де Голлю: «В конце концов победителем всегда оказывается смерть». Президент в своей глупой фуражке, похожей на открытую консервную банку, навсегда осмеянную покупными комедиями о французских идиотах-полицейских, покивал: «Да, да...» – он не понял, что император имел в виду.

Самая ближняя к мосту из кремлевских – Водовзводная башня (или Свиблова, по имени строителя), высокая и мрачная. Она единственная без ворот, беременна первым (неискоренимое, черт возьми, слово в краеведении) русским водопроводом, поднимавшим воду в царские чертоги и сады. Наполеон на прощание ее взорвал и восстанавливающие руки убавили суровости, но и сейчас башня, по мнению моему, смотрится безрадостно. В 1937 году ее увенчали рубиновой звездой, заметив наибольшую близость к зрителю, спустившемуся на мост для рассмотрения дел нашей земли.

Москва росла на холмах, между холмов текли реки, речки и ручейки. Множество деревянных, «живых» мостов скрепляло московскую жизнь, кому-то казалось, что даже в имени Москва спрятаны чавкающие «мостки». Большой Каменный мост (а еще его называли Всехсвятским, Берсеневским, Новым) – первый (вот опять!) каменный и – последний. Его считали четвертым русским чудом после Царь-колокола, Царь-пушки и колокольни Ивана Великого, но мост почему-то застрял в тени.

Иван Третий расчистил Боровицкую площадь, отодвигая от Кремля деревянные дома вместе с пожарами и затрудняя татарские осады, и жизнь, потесненная площадью, перебралась за реку и потянулась на юг, в стрелецкие слободы Замоскворечья, вдоль дороги из Великого Новгорода на Рязань. Жизни требовалась опора, путь по речной воде – царь Михаил Федорович вызвал из Страсбурга палатного мастера Ягана Кристлера с дядей, с инструментом – медные пешни, вкши, подпятки, долотники, винтовники, шурупники, кирки, закрепки – заклинание прямо!

Немцы для наглядности сколотили игрушку – маленький мостик и отбили два вопроса заказчиков (дьяков Львова и Кудрявцева интересовало, устоит ли мост от удара двухаршинного льда, выдержит ли перевозку больших пушечных снарядов): «Будут сделаны на месте быков каменные островики, а на те быки учнет лед проходя рушиться, а тот рушеный лед учнет проходить под мостом меж сводов мостовых. Своды будут сделаны толстые и твердые, от большой тяги никакой порухи не будет».

Только в Москву поехали аршинные кубы белого камня из Настасьина (в Настасьине я однажды переночевал в пионерском лагере зимой), как все умерли – и немцы, и царь (как писали, «оставя царство земное, преселися в вечныя обители»). Взались достраивать уже при Софье – царица мне нравится, но коммунисты полюбили по родственным соображениям ее

брата душегуба Петра, и Софья осталась в истории толстомясой жаркой бабой с нематыми черными космами.

Семнадцатый век сильно походил на двадцатый. Начинался смутой, кончился смутой: гражданская война, восстания крестьян и казаков, походы на Крым; восставшие «рубили в мелочь» бояр, лекари под пытками признавались в отравлении царей, в кровавом апреле сжигали старообрядцев. Русские с безумными вниманием оглянулись вдруг на свое прошлое, на собственное «сейчас» и с ожесточением бросились переписывать «тетради» по историческим язвам: раскол, стрелецкие бунты, место земли нашей на глобусе, как раз завезенном в Россию, – о политике спорили дети и женщины! Внезапно простонародье осознало: мы – тоже, мы – участвуем, мы свидетели, и как сладко говорить: «Я». Что-то произошло такое, отчего захрипела и сдохла БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ МОНАСТЫРЕЙ, и кто-то сказал над черноземными головами: НАМ НУЖНА ВАША ПАМЯТЬ, останется все, что вы захотите, нам нужна *ваша* правда. Не повезло, пришлось запоминать, обдумывать, каждому, а не только беглецам-недобиткам.

Ну вот, в год, когда Шереметев ездил к цесарю Леопольду Габсбургу, князь Голицын ходил на Перекоп и вернулся от Конских Вод потому, что татары выжгли степь, чернец по чертежам покойных немцев достроил «восьмое чудо света» – Большой Каменный мост.

Если верить некоторым косвенным упоминаниям в денежных расчетах, звать его могли Филарет. «...От простых монахов зовомый Филарет» прямо, но не исчерпывающе достоверно занес чернец Силиверст Медведев в свое «Созерцание краткое...». В год завершения моста автору «Созерцания...» срубили голову – ученый (в Москве его так и звали «Солнце наше») расплатился за советы Софье, споры с патриархом, совещания с мятежными стрельцами – «главоотсечен на Красной площади и погребен в убогом доме со странными в яме».

Восьмипролетный, арочный, из белого камня. В семьдесят саженей в длину.

Гравюры Пикарта (видны домики – мельницы или купальни?), литографии Дациаро (под пролетами уже набиты сваи, пара зевак и предсказуемый челнок – пассажира в шапке одним веслом прогуливает тепло одетый гондольер) и литографии Мартынова (уже прощальные, с двухбашенными въездными воротами, снесенными задолго до издания), запечатлевая Кремль, заодно захватывали и мост, первые сто пятьдесят лет его: мукомольные мельницы с плотинами и сливами, питейные заведения, часовни, дубовые клетки, обложенные «дикарем» на месте двух обрушившихся опор, палаты князя Меншикова, толпы любующихся ледоходом, триумфальные ворота в честь азовской победы Петра; сани, запряженные парой, тянут высокий помост с двумя пассажирами – священником и закованным в цепи быстроглазым Пугачевым (борода и смуглая морда), погубившим семьсот человек (кричал налево и направо молчавшей, предполагаю, толпе: «Простите меня, православные!»); палаты Предтеченского монастыря, неизбежные полеты в воду самоубийц, весенние разливы, шарманщики-итальянцы с учеными собачками; «темные личности укрывались в сухих арках под мостом, угрожая прохожим и приезжим» – присочинил мой собрат, отвлекшись на маканье пера в чернильницу.

Балаганы показывали восковые фигуры, диких людей, заросших мхом, и недавно пойманную рыбаками рыбу сирену, в толпе грызли подсолнухи и покупали разноцветные надутые газом шары. На колени ставили арестантов с табличками «За поджог», «За разбой». Будочники с театральными алебардами, свободно курящие косматые студенты и стриженные девицы в темных очках, трактир «Волчья стая» в грязном двухэтажном доме, пристань общества московских рыболовов (всего-то изба на деревянном плоту с гроздьё привязанных лодок)... И все понимали, что – время вышло, дни сочтены (особенно когда в наводнение 1783 года обвалились сразу три арки, задавив рыбака и стиравших баб), но все равно не раз злобно припоминали Александру Второму одно из первых его деяний – разбор старого, великого моста, хотя (о, конечно!) даже лом не брал старинную кладку – пришлось взрывать.

Новый мост по-прежнему остался Большим Каменным, хотя в 1859 году на два каменных быка легли чугунные арки с перилами того же материала и мостовой из лафетных досок (лень подниматься к словарю – «лафетный»?) – инженер Н. Н. Воскобойников (по анкете выходит двадцати одного года – опечатка?) исполнил проект полковника Танненберга; ратной фамилией полковник обязан одной восточно-прусской местности, известной гибелью тевтонского ордена от русско-польско-литовских усилий и злосчастной судьбой армии генерала Самсонова в Первую мировую.

На фотографиях собрания Готье-Дюфайе можно заметить: чугунный мост встал немного левее и теперь утыкался не в Боровицкую площадь, а в Ленивку – самую короткую улицу Москвы. Ветшая, мост простоял человеческий век – семьдесят пять. Ломать собирались раньше, но случились две войны и революции, а после смерти он пожил еще – при ознакомлении с делом обнаружено в советской газете: «пролеты старого моста найдены в удовлетворительном состоянии и перевезены на баржах в район деревни Заозерная».

За Третий Мост бились на конкурсе лучшие силы русской архитектуры, без видимого труда ставшей советской: Передерий, Жолтовский, Щуко, Щусев. Мощной стальной однопролетной аркой выиграл Щуко (и ученик его Гельфрейх). Проигравших тянуло к тесноте и многоарочности московской старины. Щуко один оторвал бессонные глаза от чертежной доски и посмотрел в предрассветное окно – МОРСКОЙ ПОРТ МОСКВА. Заключенные выроют каналы. «Москва – Волга» и Беломорско-Балтийский. Под мостом пойдут караваны судов!

Стремительность, сила, упругость – так выразил победитель свою идею.

Если следствию представится возможность, было бы интересно предложить проходящему по делу Щуко в трех словах выразить идею собственной, Владимира Алексеевича, жизни. Сын военного, окончил училище в Тамбове, пробовался актером во МХАТе и был отмечен Станиславским, потом полярная экспедиция на Шпицберген.

Началось дипломным проектом дворца наместника на Дальнем Востоке, Рим, Стамбул, Афины, Флоренция, Милан, модерн и русский ампи́р, традиции Камерона и Воронихина. Закончилось бесчисленными проектами памятников Ленину (осуществлен один – Ленин на броневике, Финляндский вокзал), Библиотекой имени Ленина и семилетним бесплодным проектированием колосса – Дворца Советов. И – Третий Мост, над «водным зеркалом», 478 метров. Построил и через год умер.

5 марта 1938 года мост испытали – сто сорок десятитонных автомобилей и двадцать груженых трамвайных поездов. Четыре большевика-полярника тем временем проплыли на льдине над Северным полюсом, взрывались дирижабли, Япония воевала в Китае, девицы с рекламных плакатов советовали пить кофе с ликером марки Главликерводка наркомпищеторга, праздновали 750 лет «Слову о полку...», в Александровском саду искали место памятнику Павлику Морозову, инженеры испытывали новое изобретение – телефонный автоответчик, но это и многое из первых плодов генерального плана реконструкции Москвы: станции метро, парки, улицы, мосты – оказалось чуть вдали от человеческих глаз тридцать восьмого года – окончание строек совпало со всплытием из болотных глубин правотроцкистских гадов; процесс «антисоветского троцкистско-бухаринского блока» завершался привычными русскими казнями «зверей в человеческом облике», привычными русскими дикими обвинениями соперников и совершенно нерусской податливостью.

«Были ли случаи, что члены вашей организации, имеющие отношение к масляному делу, в масло подбрасывали стекло?»

«Да».

«Были ли случаи, когда ваши союзники, сообщники преступных организаций подбрасывали в масло гвозди?»

«Признаю».

«Я возвратился в СССР с мандатом японского шпиона».

«Вредители центра уничтожили в Москве пятьдесят вагонов яиц».

«Я вел вредительско-диверсионную деятельность в лесном хозяйстве Северного края».

«Искусственно распространял эпизоотию, от которой в Восточной Сибири пало двадцать пять тысяч лошадей».

Навсегда осталось непонятным, зачем несколько сотен тысяч людей, прыгая в могилы, между привычным русским жертвенным молчанием и позором выбрали позор? Что произошло тогда? Кто пообещал им воскрешение? Неизвестно.

Пешеход Третьего Моста очень скоро перестал бы любоваться преимущественно вечным Кремлем – уже закончили укладку фундамента Дворца Советов; строительство затевалось так, словно что-то должно было отмениться в России навсегда.

Всего через десять месяцев каркас дворца собирался поравняться со Вторым домом Совнаркома и расти выше, до 320 метров, перейдя в стометровую фигуру Владимира Ленина (длина указательного пальца пять метров) – скульптор Меркуров уже заканчивал модель. Сумма двух цифр (320+100) дала бы ясное представление статуе Свободы (33 м), а заодно и пирамиде Хеопса, и Кельнскому, Амьенскому соборам, Эйфелевой башне и, наконец, небоскребу Эмпайр-стэйт-билдинг в Нью-Йорке о том, кто спасет мир. Великим идеям соответствуют каменные сооружения великого размера, но тень, черная тень напознала, росла и густела, накрывая всё – и эти недели казней (в сутки расстреливали по две тысячи человек), концертов, премьер кинолент «Волочаевские дни» и «Юность маршала» (заживо описавшая детство Семы Буденного, кавалериста, носившего самые знаменитые усы Советского Союза), фантастических фильмов о победной будущей войне тоже. Черная, страшная тень, окончательная чернота, клокоча и содрогаюсь, затопляла всё, говоря: с Большого Каменного моста вы сможете увидеть только Россию и больше ничего; говоря: теперь можно строить только танки и самолеты; говоря: своих убивать так много уже нельзя – нас придут убивать чужие. Металл из конструкций дворца пошел на противотанковые ежи и мосты на железной дороге – ее потянули на русский Север за углем, Донбасс взяли немцы. Ничего отменить не получилось.

Пароход

– Давай на парходике? Давай, давай, давай! – Украинка прыгала на входе в метро и хлопала в ладоши, груди ее тряслись тяжелыми рывками под белой блузкой. Я повел ее по эскалатору вниз, она тормозила, оглядывалась и подставляла алые губы – сцелуешь помаду и останется бледная щель, – предупредила: ночевать домой, тетка ждет. В вагоне до «Киевской» украинка взглядывала сонно, накрашенно и тревожно, безумно-влюбленно, показательно цепенея от чувств, поправляя начесанный беспорядок волос, даже зад ее посвежел, а может, еще пару килограммов нажрала.

Баром на корабле командовала тетя в морской фуражке. Я слупил два бутерброда, попросил льда в апельсиновый сок, но тетя сказала:

– Такого у нас не бывает.

Украинка повисла на мне ручной обезьяной, хватала за шею, запускала руки под рубаху, покусывала ухо с утомленным стоном – я выволок ее на верхнюю палубу и усадил на скамейку посреди набережных достопримечательностей. Похолодало, пришлось обнять. Она поерзала, ввинчиваясь в меня то боком, то спиной, и кулем повалилась на колени, разомкнув губы с мясной мокрой изнанкой. Я нагнулся, и мы целовались невпопад, не вовремя вываливая языки, толком не соединив губы, украинка плаксиво вздыхала, и все не к месту. Тупорылые приезжие оглядывались на нас с восторженным интересом:

– А кому вон тот памятник? Извините, а что там за карусели?

– Петру Первому! Парк культуры!

И дальше все так же бестолково, бессмысленно и без перерывов.

Смеркалось, ей еще добираться домой; я свел украинку на пристань у Театра эстрады по трапу из двух досок, поглаживая толстую грудь в сходящей толчее, трогая зад, и – в сторону, по ступенькам пониже, к воде, сквозь дымную вонь отчаливающего парохода; стоп! – и вдавлив ее в гранитную стену – здесь; она целовалась с прежним пылом, взглядывала умоляюще, слезно, невыносимо, расстегивала рубашку, целовала шею и грудь и дважды внятно сказала: «Я люблю тебя». Правая рука моя уползла под блузку, расстегнула тройной крючок на лифчике и заученно погладила провисшую жировую громаду, а потом забралась под юбку. Она прошептала:

– Ты такой романтик!

Я стащил ее ниже, подальше от дебильных детей на роликах и бомжей, к речной хлюпающей воде, и потрогал вязкие волосы между ног – украинка изумленно вздрогнула. (Ничего не выйдет. Слишком светло. По набережной за рекой катят машины, на губах мешается запах жратвы с умеренной отдушкой кариесного ее рта, кто-нибудь сейчас что-нибудь скажет где-то над головой...) Слабо заболел затылок, она уже замаялась ждать и случайным проверяющим движением помяла мне джинсы слева и справа: где?

Я трогал ее, как трогают кошку, мимоходом, думая не об этом, мял и разглаживал, а потом уморился и бросил, только сопел и тыкался губами во что-нибудь. Закрой глаза, прошептала украинка, не думай ни о чем, здесь никого нет, и хозяйскими рывками распустила мне ремень... Я жмурился, чтоб не видеть светлого вечера, затылок болел сильнее – и, почуяв нужную твердость, вслепую схватил ее за шею, поставил, повернул спиной, она торопливо приподняла юбку, волосы обмотали ей лицо, как мешок, отпихнула мою руку, велела: дай! – и направила сама, коротко и музыкально простонав, – я толкался в нее с яростным ощущением: скорей, скорее, пробивая за этажом этаж, обволакиваясь влажностью, в горячем спокойствии... А может быть, может быть, она приезжает в Москву забеременеть, замуж? Я потерпел и выскочил из нее, выплевывая в пустоту студенистые метки; украинка, растерянно помедлив, развернулась, неуклюже переступая в спущенных трусах, и взялась помогать. Я отвел ее руки – я тебя

не запачкал? – прижался к туше с несдерживаемым вздохом омерзения, поцеловал в щеку, раз, другой, не замечая ищущих губ, и еще вздохнул; она протянула влажные салфетки в разорванной упаковке – все найдется у девушки в сумочке, – быстро вытерся, украинка нащупала сквозь юбку трусы и подтянула их на место. Всё.

Вел наверх, по набережной и дальше к мосту, как теперь выяснилось, называвшемуся Большим Каменным, ловить машину, поперек «давай погуляем немножко», «у тебя еще есть время?», «такой необыкновенный вечер...» – машины неслись с воем и шелестом, приходилось кричать. Украинка шла как пьяная, что-то старательно весело рассказывая сама себе – я пропускал жалобы («не хватает денег на третий курс»), надежды, просьбы («еще завтра у меня свободный вечер, давай в кино»), отметил только – день отъезда и разместил меж пальцев бумажку в одну тысячу рублей, сунуть, как только подъедет такси – всегда давал с пятикратным запасом, и не отказывалась: много.

Мы поднимались двухпролетной каменной лестницей на мост, где движение погуще, – на площадке украинка широким шагом переступила припорошенную песком лужу:

– Как свинью резали.

Я посадил ее, хлопнула дверь, махал рукой, пока могла видеть, лживо поклявшись, как всегда: никогда больше! – ближе к ночи поймал на Лубянке машину и задохнулся от радости: плешивый водила на место магнитолы припаял телек, на экране размером с пепельницу, мерцающая и мигающая, без звука бились «Спартак»-«ЦСКА». Водила вздыхал за армейцев, и я устался в пасы и навесы, чтобы вовремя порадовать его, до самой Якиманки:

– Гол! ЦСКА!

– Вне игры, – сухо поправил водила, – Попов в пассивном офсайде.

Молчком мы въехали на Ленинский проспект, словно в лето – такая сгустилась жара.

Я расстегнул побольше пуговиц, опустил в дверце стекло и вертелся, изнемогая от распаренной духоты, почесывая башку и зевая, давая щекотную испарину на щетинистой верхней губе, перехватывая капли пота на шее – сердце постукивало глубоко вниз, как баскетбол в школьном спортзале – слышен на каждом этаже в тишине контрольной письменной по алгебре, запустил я в десятом классе алгебру, – единственный ночной кошмар, а так – я хорошо сплю.

По Университетскому, мимо платной поликлиники – дважды сдавал на сифилис, раз на хламидии, кровь на герпес первого типа и больно, выдавив слезу, на гонореллез... Я мазнул взглядом по другой стороне, по черным лавочкам вдоль сквера – там посасывали пиво и огненной пылью царапали тьму сигаретные зрачки, на лавке номер четыре человек отдыхал в одиночестве. Должен ли человек оставаться один?

– Останови!

– Что, хреново?

Во внезапном жаре, как в тесной одежде, я доковылял до киоска «Российских лотерей» с разбитой камнем витриной, купил у грязноватых кавказских рук заснеженную банку кока-колы лайт и шипяще вдавил в ней дырку, похожую на лепесток. Перелез проспект, прикладываясь к банке, через ограду, сквозь кусты и подсел к одинокому человеку, на свободный край – допивал, хватая воздух, вслушиваясь: жарко? остываю? Башка горела азартным огнем, кровь ломилась слева в затылок, как в плотину.

Сосед сидел свободно и отрешенно – пожилой, изящно худой, с седым растрепанным облаком на голове, в мягких домашних брюках и допотопной интеллигентской кофте с завязкой на животе – в таких изображают умирающих физиков-евреев и подлецов, скупающих краденые скрипки и марки. Давно и непривычно небритый, он сидел так свободно, словно жил где-то неподалеку и каждый вечер выходил сюда подышать, на лавочку, оставляя за спиной цирк на Вернадского.

– Здравствуйте, Александр Наумович! – и я весело переехал по лавке поближе. – Что вы сейчас читаете?

Гольцман с удовлетворением улыбнулся, и мы сцепили рукопожатие.

– С тех пор, как умерла Регина, я читаю только одну книгу. Она лежит у меня на тумбочке у кровати. Это Библия. Ты знаешь, в ней есть *всё*.

– Хочу сказать! Кровать, что вы мне с Региной Марковной отдали, до сих пор в порядке. Я на ней сплю!

– Хотя прослужила семнадцать лет, прежде чем нам понадобился ортопедический матрас. – Гольцман призадумался, чему-то тоскливо улыбаясь, рука его агонизирующе шевельнулась и ожила, качнулась ко мне для приземления на участок тела, используемый для участия, «держись, я с тобой», но рухнула на лавку, словно не хватило завода, все ясно и так. – Надо уезжать.

– Да куда мне уезжать, – я задрал голову, глядя на холодно дрожащую листву, на осень, на тающую свою бессмысленную жизнь, чуть не заплакал.

– Но. Ты понимаешь. Ясно, что кто-то тебя установил. Взяли в разработку. Мы не знаем, кто они. Надеюсь, что коммерция. Мальчик, что имел с тобой разговор на вернисаже, несерьезный. Но неприятный. Он тебя провоцировал. Но он же не один. Если ты не согласишься работать под ними, по их клиентам, тебя сдадут. Уходи. Я не вижу других вариантов. – Осторожными рывками, отдирая приклеенный кровью бинт, он говорил медленно, словно двигалась тяжелая мебель, давая понять, что времени нет, нас ведут и даже здесь, на этой лавке, мы пескари в стеклянной банке, выпустили посмотреть, как задохнемся. – Ты знаешь наши возможности. Теперь они довольно ограничены. Если мы найдем достаточно средств... Если нужные люди в прокуратуре и суде согласятся оказать содействие... До суда ты просидишь год. Два. Ради чего? Посмотри на все это по-другому. Разве ты не устал? Ты уже что-то прожил. У тебя появилось то, чего не будет, если уже не было. Ты уедешь к морю. У тебя будет все, что нужно: природа, труд... – Гольцман хотел добавить «женщина», но сморгнул это слово со слезой. – Поверь, больше ничего не надо, в Библии про это все есть. Я должен знать, что ты думаешь.

Осталось так мало жизни. Все слиплось, вот в чем дело. Все слиплось. Утерян смысл детских игр, передвижений солдатиков в траве, утеряны новогодние радости, сладкие арбузы, наслаждение телом любимой, сладость звучания собственного имени, теплая тяжесть мокрой рубашки под летним ливнем – мир без интереса смотрит на меня. Осталось мечтать о здоровой старости, чтоб не «под себя», да о смерти во сне.

– Я думаю, у меня еще есть время, я отдохнул. Я могу еще поработать. Я хочу заняться Большим Каменным мостом. Открыть и выпустить всех, кто там есть. Вы мне поможете.

Гольцмана я заметил в читальном зале номер шесть (для научных работников) на втором этаже исторической библиотеки на «Китай-городе», видел в архиве Института марксизма-ленинизма (теперь он называется как-то иначе, что-то там про социально-политическую историю государства российского) на Большой Дмитровке, встречал в бывшем архиве Центрального Комитета Коммунистической партии на Ильинке. Мы раскланивались. Пара вежливых слов... Первые разговоры в буфете за пирожками с яблоками... Он начал читать мне свое – почему никто не берется печатать? Старик с рабской безысходностью угловато вырезал, словно ножницами по металлу, очерки о героях партизанского движения зимы сорок первого года – и впустую носил по редакциям своих не нужных никому парашютистов, лейтенантов госбезопасности, удивительных людей, говоривших зимним утром с виселичной петлей на шее согнанным на площадь сельским жителям: «Наше дело все равно победит... Я не боюсь смерти. Умру, как подобает патриоту Родины», – в часы, когда немецкие мотоциклисты въезжали со стороны Химок в Москву по нынешнему месторасположению мебельного монстра ИКЕА. Гольцман свидетельствовал о любви к Родине (Родину он не хотел забыть), силой не уступавшей смерти, и, надо признать, Родина своих не подводила, повешенные – люди правды – не ошибались: их

дело действительно победило, дотошно и полностью, не упуская мелочей, и если в суховатое повествование Гольцмана, перегруженное цифрами грузоподъемности пущенных под откос поездов, вплетался человек, предавший наших, то обязательно спустя пару абзацев, без всякой связи с излагаемым материалом появлялось: «Кстати сказать, и этот провокатор был пойман и приговорен трибуналом к расстрелу», – ничто не прерывало хлопотливое и вечное движение холодных рук, десятилетиями подбивающих итоги, и в четверг утром в провинциальную дверь звонил водопроводчик, и открывший седой и ветхий хозяин слышал именно тот веселый ненавидящий говорок, который слышал каждую ночь все эти бессильные годы: «Ну что, сука, думал, забился в щель и мы тебя не найдем?»

Гольцмана печатали только коммунистические газеты и «Военно-исторический журнал». Я гадал: зачем... ему? Чем-то себя занять? Нужны деньги? Внучка снимает квартиру? На лекарства внуку? Но Гольцман внуков не нажил и таскал камни на могилы однокашников с продуманным упорством, словно участвовал в каком-то строительстве. Жену три года сжирал рак, стало неловко звонить Гольцману домой: «Как ваши дела, Регина Марковна? Как вы себя чувствуете? Что-то голос у вас невеселый... Дома Александр Наумович?» – болтать с женщиной, которой выпало умереть медленно, осознанно, а ты еще останешься здесь и увидишь, как... например, весной... – что-то другое требовалось говорить. Сын Гольцмана давно женился на компьютере, трахался с ним, и компьютер увез его с собой на родину, в Америку.

Прошлого Гольцмана никто не видел, он никогда на моих глазах не выпускал его покормить, хотя не думаю, что оно сдохло: оставались ученики, и ученики учеников, и похороненная заживо Родина. В предисловиях к сборникам воспоминаний ветеранов КГБ генерал-майора Гольцмана А. Н. выделяли за активную общественную работу по созданию истории контрразведки. В архивах, если пенсионерам-исследователям в запросе требовалось указать «последнее место работы», Гольцман убористо вписывал «помощник председателя Комитета информации», и его считали журналистом: малоизвестно, что в учреждении, неловко названном Комитетом информации, в 1947 году кратко временно попытались объединить военную (ГРУ) и политическую (Первое управление МГБ) разведки, и председателем комитета стал человек номер 2 империи – Вячеслав Молотов.

Мы ему не платили, Гольцман помогал на идейной основе; мы не дружили – я не умею дружить и кого-то жалеть: внимательное сострадательное отношение ко всем млекопитающим приводит только к растерянной жестокости и окончательному арктическому холоду, – да и он не умел дружить. Мы служили Всей Правде, а это – гостиничное белье со штампами, пыльные бумаги, недопустимость сочувствия, человечья слизь и черный лес – в конце земных дорог там ничего нет и окликнуть некому. Мы просто встречались и говорили друг другу то, что от нас требовало дело. Пока не умерла его жена. Тогда Гольцмана взяла невидимая рука, помяла-пожала с легким хрустом и положила обратно на эту лавочку.

– Идея простая. Распаковать мост. И долбануть уродов, привести в чувство. А то они думают, что закрывают все вопросы. Что всех зароят. Пусть знают.

Гольцман покивал – да, он ожидал этого:

– Это, дорогой мой, безнадежно. Это бесполезный, опасный труд. Это не наше дело. Это после всех нас.

А нам выход один. И для тебя он тоже открыт. Выход – вот. – Я не повернулся, я смотрел, как байкеры несутся в сторону Воробьевых гор, везут своих белокурых девок в черной коже, я так и не увидел, как он изобразил управлявшую им теперь книгу: тремя перстами? крестом? – И мы вернемся. – Он так и не добавил «я уверен», «может быть», «я надеюсь», «мне кажется», «и Пушкин в это верил, а небось, не глупее нас», «Эйнштейн в конце жизни признал...»

– Я не вижу выхода. Я буду делать то, что могу.

Мы нескучно помолчали, я доцедил кока-колу и метко запустил банку в урну: трехочковый! – облизнулся и задумался над его вопросом:

– Но этот... мальчик? Этот зондаж тебя... Ты считаешь, у тебя хватит ресурсов, чтобы как-то... решить?

– Он меня напугал. Все так выглядело... Так по-настоящему, как не бывает! Но потом я все вспоминал. Ночь с ним разговаривал... И вспомнил... И может быть, у меня есть маленькая возможность все развернуть. Клиент неуверенно садился в машину. Вообще не знал, куда ему сесть. Полез сперва в машину наружки, охрана его пихнула в «БМВ», а там он не знал, с какой стороны садится охраняемый, ему подсказывали! Как в первый раз. Если мне повезет, если он приехал на вернисаж без охраны... Если весь этот маскарад подогнали только под наш разговор... Если сопровождение он нанял на час, потому что на большее не хватило денег... то этот малый – один, раскрытая ладонь. И за ним никого нет. Просто клоун, заигрался в Интернете... Кино про секретные материалы... Путешествия во времени... Управление чужими желаниями... Не понимает, *что* трогает. Я записал номер машины.

– Если кто-то всего лишь обратился во вневедомственную охрану и оплатил наружку и физзащиту на воскресенье... Например, для сопровождения на переговоры...

– Тогда мы его разорвем.

Гольцман безжизненно и равнодушно подумал и наконец кивнул: возможно...

И поднялся. Настала пора. Теперь, когда он казался себе свободным и будильники молчали, он жил по какому-то особенно строгому распорядку:

– Большой Каменный мост у Дома правительства. Много слышал, но толком ничего. Надо найти вход. – Что-то прикинул и постороннее выдавил: – Может получится познавательно.

Ночь – ненадежное время. Я становлюсь мальчиком. Все, кто знают меня другим и на кого я должен работать, засыпают. Я сижу на кровати один и не могу включить свет, мне не разрешают. Я не могу включить свет, чтобы читать, не могу в темноте слушать музыку – это всем мешает выспаться. Я могу только ощущать себя мальчиком, который сейчас, в эти минуты, никому не должен. Я могу на ощупь разминать руками морщины и не слушать неинтересное, не интересоваться неинтересным. Могу подержать в руках мячик или тихо катнуть его до стенки.

Я не устал, я могу встать и долго идти быстрым шагом, но меня не выпустят, я должен на них работать, пока они меня не похоронят. То есть – ничего взамен.

Проблема

Вот это у меня... обострено. Мне тридцать восемь полных лет. Имею двоих детей. Старшая дочь (ей десять) высокая – уже барышня! У меня много седых волос. Я гляжу на них смиренно, как на снег, лежащий на крыше дома, – он растает, – как на царапину, что заживет.

Наверное, это началось раньше, давно, что-то повлияло на плод или после недолечили, но особенно пять лет назад: я читал газету в вагоне метро, подъезжая к работе.

И прочел: через несколько тысяч лет (или через несколько десятков тысяч лет) Млечный Путь, где мы живем, столкнется с туманностью Андромеды. Сейчас мы сближаемся со скоростью пятьсот километров в час. Или пятьсот тысяч километров в час. Но когда мы встретимся, Земля давно уже будет мертвым телом. У Солнца закончатся запасы тепла, и Земля превратится в ледяную глыбу.

Мне стало так жутко, как бывало только в детстве, и только в метро, и только при мысли о гибели родителей. Я сразу подумал о дочери. Я так остро почуял СМЕРТЬ, что казалось, это ощущение уже не пройдет. Но прошло десять минут, и, подходя к работе, я почувствовал: полегче. Я даже удивился – где же то? Что такое разогнулось во мне и так быстро! Видно, попритерся я здесь, привык жить-жевать.

Но спустя... летом... мы свернули с дочкой к оврагу поискать грибы. «Пап, а правду говорят, что Земли когда-то не будет?» Безвыходное, выигрывающее время: «Кто тебе сказал?», и на склоне оврага я полностью понял: да. Ничего больше не будет. Все сгниет, как трава. Но это невозможно показалось совместить с существованием рядом родной, потной, пахучей макушки моей дочери. Я оказался не готов к небытию навсегда.

Моя болезнь описывается четырьмя словами: *я не могу забыть*.

Нет, тремя: не могу понять. Тремя: не могу смириться. Еще три: я не хочу!!!

Вечером и утром я начал об этом задумываться. Вечером и утром я покачивал с нажимом свое нутро, как ненадежный зуб: так же? не перестало? Иногда пробитую дыру затягивало синеватой, тошнотной пленкой от усталости, переедания, опустошенности женским телом, соседства с сыном, бегущим во сне на битву; я двигался бережно и старался больше спать, чем-то поприжать, но – не срасталось; совсем дыра, похоже, не зарастет никогда. Видимо, ослаб организм, не борется. Что-то в тканях такое... Видимо, прошло мое время.

В юности предохранительной подушкой впереди лежала неизведанная земля «ты еще молодой», в детстве жизнь казалась пустыней, дремучим лесом, но вот теперь лес стал пожиже, и меж стволов начала проглядывать... ты поднялся на следующую гору и вдруг увидел впереди черное море; нет, вон там, впереди, еще есть горы, поменьше, но моря, к которому ты идешь, они не закроют больше никогда.

Я отмечал в себе: я все равно не готов, что мой сын (он любит гречневую кашу и плачет изредка в саду – там появился кролик) умрет, что его старческое лицо появится в фотографическом овале, а потом крест завалится и могилы распашут. Я не готов принять появление каких-то новых мальчиков, дождавшихся очереди жить. Я не хочу других мальчиков, других стариков, другой весны, кроме моей, нашей. Мне пришлось признаться себе: со всем этим мне хочется броситься к маме, прижаться, прикинуть, подбежать и с разбегу уткнуться – и не могу, мама умерла. Но у меня не хватает сил скрывать, что желание это абсолютно реально.

Никому это не интересно. Вот и настало время, когда некому рассказать про мою маму. Так странно: хочешь рассказать про свое бессмертие, а это никому не надо.

Постепенно мысль о несуществовании полностью заняла меня, как полчище татаро-монгол, как иго.

Любую радость начала протыкать смерть, несуществование навсегда. Я потерял радость утреннего сна, просмотра футбола, трудовой усталости тела и оконченной тяжелой

работы, радость весны, первого снега, радость невесомости детских рук, утоления жажды холодной водой. Я потерял вкус еды – я потерял все. Вес могильной плиты раздавил.

Жизнь продырявилась, когда я понял, что умирать – «да», и разорвалась тем, что еще и «скоро». Там, во мраке уничтожения личности, сквозила какая-то новизна и окончательность, сладость подчинения чужой воле и иногда твердое обещание несомненного будущего, но все это оставалось смертью и тонуло в смерти. Кого сможет согреть эта ледяная искра? Мир сокращается, опускается каменная порода, бегать приходится пригнувшись, потом согнувшись, а скоро придется на четвереньках, а затем ползком, а в конце лежать и чують, как миллиметрами налегает камень на хрустящую грудину, пока не придавит как жука, запоздало распялившего крылья.

Что – я прожил свое, прожег? Весной уже не обновляется кора. Уже не выучить английский. Окончательно мимо. Почему-то больше всего я пожалел о школьных уроках. Что не писать больше дробей, не решать уравнений с неизвестными. Не учить расположения планет: Меркурий, Венера, Марс, – еще помню Плутон. Не придется подчеркивать подлежащее одной чертой. Знания отработали свое и больше не понадобятся. Я больше не понадобится. Моя жизнь... Моя жизнь! Но я хочу еще раз заучить падежи и неправильные глаголы, я опять хочу (не «опять» – всегда!) чують прочность закладки первых кирпичей, я хочу жить в детской, человеческой справедливости, а не под людоедским гнетом времени, решившим, что я навсегда должен *не быть*... И уж если по справедливости, то мир должен взорваться такой атомной бомбой, чтоб все сдохли, чтоб никогда никого, если умираю я, человек, что был дороже всего на свете только маме.

Я хочу вернуть себя...

Я заглядывал в лица людей, особенно стариков – вон они улыбаются, сидя на банных полках и на мягких сиденьях маршрутных такси – они, видно, знают секрет, какой не знаю я. Ведь их ждет та же смерть, что и меня, и раньше: уже завтра! Тогда чему они улыбаются, почему не спешат, не подают вида, что сжирает их ужас? На что надеются? Мне некому рассказать, мне некому рассказать... Я с детства привык, что моя жизнь так же важна всем вокруг, как моей маме, единственному взгляду, его ничто не заменит... Не всепрощению... А чему-то другому. А вот теперь – не интересен никому. Только некоторым, и не весь – частицей, что можно съесть – да, потрепать, отгрызть. Целиком – никому.

Я увидел смерть так отчетливо, что больше перед глазами ничего не осталось. Мне сожгла глаза моя мгновенно, неостановимо и совершенно убедительно сгораемая жизнь, и ненужно удивляли вопросы: почему только сейчас? как я мог жить, не замечая этого раньше? почему так быстро прошло и кончается?

Всякая жизнь (вся! пожалуйста, вся!) кончится моей смертью, мысли-утешения о будущих придурках внуках и детях – это обезболивающий укол, чтоб дошли без лишних хлопот для окружающей молодой своры, без ночных криков ужаса, без цепляний за рукава санитарок и врачей: не отдавайте меня туда!!! Судьба человечества меня не волнует, человечества давно нет, в нем нет ничего «я», и кому оно на хрен сдалось?! – меня волнует моя жизнь, мое дыхание, я. Мне нужен я.

Я не хочу навсегда *не быть*, я не хочу, чтобы дрогнули и поплыли границы моего времени: школьная синяя форма с металлическими пуговицами, автоматы по размену монет в метро, парады на Красной площади, космонавты, ценнейшая газета «Футбол-Хоккей», трамвай двадцать шестого маршрута, голоса Высоцкого и Левитана, записи «Машины времени» на рок-фестивале в Тбилиси, танки, идущие... – не хочу, чтобы наше время замертвело, опутанное щупальцами молодой хищной жизни, научившейся подавлять голоса умирающих и больных и не замечать надежды мертвых. Эти молодые запугали всех и заставили жить так, словно смерти нет. Словно все кончается хорошо. Все вообще хорошо. Плохих финалов нет. Будет еще серия. Всегда есть повод развлечься. Все смеются. Только ненадолго прервемся на рекламу. Словно

все мы окончательно не сдохнем навсегда. Словно есть что-то важнее этого «нет» на свете. Об этом не говорят, не поют, детей не учат – смерти нет. Этого не замечает телевизор – смерти нет. Молодость и веселье и новые товары! Пожилых немного, вон они на лавках ласкают собак, румяные и придурковатые мишени для насмешек! уродины! – а мертвых и вовсе нет. Унесли и закопали. Жизнь продолжается. Так, словно *всегда* будет продолжаться... Их не показывают. Их не выносят на улицу. Их большинство, но им нечем сказать. Никто не хочет вызволять из земли сгнивших, никто не признает их равными себе. Никто не слышит этот подземный стон великого большинства: ВЕРНИТЕ НАС! Словно самое главное человеческое желание, как и смерть, не существует, словно единственный возможный смысл – не имеет значения. Словно мертвым есть на кого надеяться, кроме нас.

Что же мне делать, что же мне делать... Способы, хоть какие-то надежды... Какие? Есть занавесочка «еще не скоро». Великое «еще не сейчас». Есть жажда СО – сильнодействующих отвлекателей. Алкоголь. Горные лыжи. Фан-клуб... Можно искать бодрости в образцах здорового долголетия, длительной работоспособности.

А может, я разрушусь, сожмусь до моллюска, прежде чем умру и смогу думать только о рисовой каше?!

А может, вообще не думать об *этом*, и старость сожрет личное, неповторимое незаметно, как стачивает пылинки-жучки трехобхватные бревна.

Может быть, физическая старость напитает идею «С меня довольно», и нежелание дальше *быть* будет столь же отчетливо, как «я наелся», «больше не пойду купаться». Нет! Форма выражения этой идеи будет взята напрокат и потеряет существенную свою особенность – неконечность (в пределах жизни нет ничего окончательного). Когда мы говорим «не пойду больше купаться» – это вовсе не означает, что я не буду купаться больше никогда. И когда старик однажды почувствует «хватит жить» – это не значит, что завтра он не почувствует другое, увидев скворца на вишне, березу и медную сосновую кору, это не значит, что он навсегда захотел умереть.

Еще есть какие успокоительные средства?!

А, есть еще такая удобная форма приема смерти вовнутрь, как «семья», «народ» (форма побольше и попрохладней), «ИС-ТО-РИ-Я», – хоть и безымянно, но ты останешься в ней – минералом, растворенным в воде, золотинкой. Кровью в родственных жилах. Семейным горбатым носом. Шустрым атомом надмирового «Я», долей безликого грамма, улавливаемой современной аппаратурой!

Да, я оглянусь на «семья!», «народ!», «история!»... Красиво упакованная, красиво выполненная история, для удобства перелистывания принявшая законченный вид... Но я не согласен подыхать навсегда для того, чтобы *все это* двинулось куда-то вперед и дальше навстречу туманности Андромеды!

Или? – боль сделает немилый жизнь, и сам будешь рад нажать самоустраняющую кнопку – ведь нажимают вон те, и не откажешь им в искренности?

Может быть, *таблетки*. Но не думаю, что фармацевтической промышленности под силу гарантировать результат. Таблетки отладят глубину и остроту, но не подвинут мысль, застрявшую на уничтожении всего; да и мысль – и она живая, моя, это тоже «я» – и ужас свой не отдам!!!

Ничего не могло, не может, нет-нет, заслонить это. Ничто не может вернуть сонное состояние глаз, когда видению будущего положен обыкновенный людской предел: мой сын, мой внук, яблони, что вырастут без меня, и насыдут, как прежде, майские жуки на березки городского парка...

Я побегал меж этих жалких, неподдействовавших «способов», как выросший человек вокруг старой одежды, как медведь вокруг теремка, не выходило ничего, только одно – кто-то должен пообещать бессмертие.

Земные правители? Сияющие скоты? Но у них пока не очень получается даже с канализацией – с проводкой дерьма по трубам! Народному восстанию за бессмертие они покажут икону.

Еще предпоследнее – бог, Бог. Бог – да, хорошая идея, чтобы успокоиться, – сдохнем в отмеренных муках, поспим, а затем – воскрешение в физическом облике, с кожей, волосьями, хоть и неизвестного возраста (лишь бы не в десятом «А» – алгебра!), и – вечность; трудовой, нехалаявый выход: отстаивать службы, к старости почиститься, покаяться и умертвить плоть, угадывать знакомые слова в церковнославянском и подпевать (а может, и на Пасху что-то доверят нести)... пожертвовать в завещании люстру в монастырь, а то и постричься *накануне*, брат Серафим! А если поголодать и часами напрягшись смотреть в темноте на огонек свечи, то и увидеть что-нибудь заживо можно – какое-нибудь неясное такое свечение и тени... Подходяще, хотя, сдается мне, черешни и девушек в коротких юбках у Бога не предусмотрено, Бог представляется довольно большим бетонным шаром, внутри которого заключено *все*. Но в чем висит этот шар? Что вокруг него? Вдруг та же вечность-вселенная-смерть? И смущает: *написано*, а раз *писалось*, так и польза, ведомо, соблюдена, пишут же ради пользы! Боятесь, значит, умирать? Так ветераны посовещались и составили в утешение, написали, чтоб вам не бояться! Чтоб друг друга не перегрызли на похоронах детей. Чтоб не требовали бессмертия. Чтобы мертвых хоронили, чтоб санитарно-эпидемиологическая обстановка... И чтоб вели себя поприличней – за вами наблюдают! Только вот жалкий торговый разнобой: миллиарды верят в одно, миллиарды в другое. Ислам какой-то... Далай-ламы... Католиков напридумывали – кто это? И особо не спорят, не жалко им идущих мимо – поделили рынок. И еще как-то смутно, когда выход один: вот есть Бог, а больше ничего. Не из чего выбрать, и ненадежность от этого, боязнь, ведь практических свидетельств нету, даже Папа Римский рак прямой кишки не исцеляет, и астрофизика не подтверждает – тишина какая-то, Бог не пугает, Бог что-то молчит... Никому что-то давно не *являлось*. И плащаница возрастом не сошлась. Я, кстати, только двух глубоко православных знал. И оба (мужик и женщина) оказались законченными сволочами. Нет, я верю, что утешение есть, святые есть, РПЦ, бедным помогают бесплатными обедами, православная сиделка, как правило, потеплей, хоть и много дороже; и как-то легче, душевней, когда поставишь свечу за полтинник, потолще, и подожжешь «за упокой», когда народ в пасхальную ночь потечет вокруг церкви... – кто спорит, нужное дело, а вот воскрешения из мертвых, боюсь, нет. В наборе может не оказаться. Производят все в Китае, в прилагаемую косноязычную инструкцию разве вчитываешься, когда покупаешь...

Нет, не так, другое – допустим, один процент (1 %) вероятности, что там, в алтарях, пусто, только солнечный свет, и этим маленьким церквям с низкими небесами нечего ответить остывающему Солнцу. Смехотворный один процент. Нет, или – 0,0001 процента. Или – 0,000000000001. И даже одна ничтожная эта единица после одиннадцати нулей выпускает ночной ужас на волю. Беда этого уравнения в том, что любая, самая ничтожная погрешность в расчете не меняет приемлемый, ожидаемый результат, а уничтожает его вовсе, уничтожает вообще все, и моя дочь останется одна, и скотски и безлико мы уснем навсегда. Сгнием.

Вечная жизнь должна быть гарантирована безоговорочно. Мысль о проценте сильно занимала меня.

Остается последнее. Есть такое стожильное выючное животное – *будущее*; выносит все, что на него грузим, и еще грузим, и еще грузим. В будущем, короче, разовьется наука и нас вернут ангелы-врачи! Но верится слабо. Вдруг эти уроды подарят вечность только себе, своим, родственникам, ближним? Как нам, сдохшим, проследить, отстоять, заставить их потащить *всех* поголовно назад? У нас же нету партии, нету «крыши», нету ресурса, а они, будущие, сами себе хозяева – сперва отставят австралопитеков, и это только начало, надо же экономить бюджет, подсчитают и задвинут на хрен Средние века, а потом – оставим только живущих, да и не всех: кому повезет! Кто не должен за коммуналку. Уроды! Хотя, если б мне повезло и

администрация предложила: вот лично тебя оставим, а дедушек твоих и бабушек, извини, нет – сам же я, подлец, соглашусь – а какой у меня выбор? Зато я тогда своих вспоминать буду – каждый день! И рассказывать про них – вам интересно? Все лучше, чем **ВООБЩЕ НИЧЕГО**... А вдруг даже живущим не всем дадут, вдруг окажусь не годен, не попаду в лимит? И тем более – послушные собаки, журавли и серийные убийцы, на детских утренниках обещавшие из себя многое другое? Никого. Нет.

Ничего не остается, кроме лжи. Но я из нее выпал.

Отвлекаясь... Я догадался: что-то случилось со мной. Что-то такое, чего не случается с другими. Как это раньше не проламывали меня миллиарды лет, черные дыры, жрущая глотка Вселенной?

А может быть, я подумал, просто все дело в том, что вечный человек, живший внутри меня, умер. Перестал разговаривать и просить есть. Там теперь какая-то мумия.

Маскарад

«Барыга» оплатил двухчасовой контракт «сопровождение и встреча» с управлением вневедомственной охраны при Главном управлении внутренних дел Москвы, подписал: Чухарев А. В., генеральный директор ООО «Орион-К». Род занятий: туризм. Почтовый адрес: Хлыновский тупик, дом 26. Оплачено: семьсот двадцать долларов.

Хлыновский тупик уходил направо с Большой Никитской (если подниматься от Моховой) напротив театра Маяковского. Вход в подъезд, занятый офисами, находился в сырой обшарпанной арке сразу за кафе «Гнездо глухаря», где, судя по рекламе, шалашом выставленной на тротуаре, по вечерам выступали барды.

Я устроился на веранде ресторана на Большой Никитской и попросил у грудастой уса-тенькой официантки в коричневой блузке стакан воды «Витель» без газа, стакан льда и сразу счет. Я сидел один и гонял пальцем по столу черную пепельницу.

Из красного полыхающего «Фольксвагена» выбралась очень высокая девка в белой легкой накидке и белых просвечивающихся штанах без малейших признаков трусов – такие сражаются насмерть с морщинами и со временем усилиями пластических хирургов превращаются в шимпанзе.

Опустилась за соседний столик, церемонно закурила, сжав тонкую, как коктейльная трубочка, сигарету красивыми полными губами. Плосковатая подростковая грудь, вывезенная из Испании смуглость, узкие бедра, крашенные в смоль волосы, туго зачесанные, заколотые на затылке и словно залакированные. В расположении огромных глаз проглядывала плаксивая изломанность, но сбоку девка смотрелась породистой и плотоядной, отрисованной в имидж-лаборатории «Персона» на Кутузовском проспекте.

Я загружал льдом стакан, девке принесли кофе в наперстке. Она аккуратно, как пудреницу, раскрыла серебристый мобильник; тыкала розовыми, заляпанными золотистыми узорами ногтями кнопки и слушала – спрашивала, отвечала, хрипловато ржала, прощалась и набирала снова.

Он появился сверху. Шел от Бульварного кольца, издали выделяясь среди прохожих белорубашечной грудью и вольной смуглой статью. Вел за руку маленькую беременную жену с розовыми, налитыми локотками и школьным хвостиком на затылке. Безмятежно улыбаясь, они шли и грелись на солнце, глядели вперед, но так, словно смотрели в лицо друг другу сонными счастливыми глазами, и какой-то сияющий шар клубился в том месте, где соединялись их руки.

– Вот они идут. И весь мир для них как зеленая поляна, – сказал я костлявой девке, и та невольно оглянулась.

На перекрестке молодые прижались друг к другу, вполоборота, оберегая беременный живот, и он отправился руководить обществом с ограниченной ответственностью, оглядываясь и отмахивая жене рукой: не оборачивайся, иди осторожней – и она, улыбаясь своей жизни (встречаются такие девушки, особенно летом), пошла дальше одна, вниз к Моховой.

– Вот и лето прошло, – сообщил я девке и пересел за ее столик. – Ждешь его, ждешь, приходит – и черешни не успеешь поесть. И никто больше не влюбится в тебя сам по себе. Никто не будет краснеть, ронять вилки и подкладывать записки без подписи в куртку в раздевалке.

– Мне кажется, вас очень многие любят. Вы просто не хотите этого замечать. – Она сказала это без улыбки. Сердечно...

– Будете работать с нами?

– Пополняете коллекцию? Не пробовали еще ноги в сто четырнадцать сантиметров? Раскованная семейная пара ищет девушку? – Она серьезно вглядывалась в меня сквозь сигаретную дымку.

– У меня нет жены, я один. Да и вы слишком худая. Девушки моложе шестидесяти килограммов не рассматриваются.

– А кто это – вы?

– На самом деле – никто. Организация по выяснению обстоятельств. Общество защиты детских фотографий.

– У вас грустные глаза, – губы ее остались чуть разомкнутыми, розовая влажная толща, и светится снежная кромка зубов, и дышащая пустота, в ней приливами накатывается язык и отступает.

– Это из другого кино. Давайте вернемся в нашу картину. Ничего особенно не требуется. Подняться на пятый этаж...

– Я, боюсь, не сумею вам чем-то помочь. Я ничего не умею... такого.

– Ну-у... Пусть после нашего как бы случайного знакомства прошло два года, вы начинали с малого, а теперь – умеете все. Алена Сергеевна. Обеспеченная, красивая девушка. Муж занимается бизнесом. Двигается в правильном направлении. Один ребенок. Сын. Вы помогаете нам. Потому что многое из остального вы уже попробовали. Или придумайте себе другую причину, Алена.

– И я буду видеть вас каждый день. – Она смотрела мне прямо в глаза; лет двадцать шесть, небось, а то и тридцать. – И каждый день...

Мне пришлось примолкнуть, уставившись в ярко-зеленые (не тонированные ли это линзы?)... Опоздал предупредить: я ничего не чувствую при этом.словно смотришь на две пуговицы, пришитые к резине. Только изображение начинает двоиться и дурнеет голова. Дыхание не перехватывает. Такие красивые девушки встречаются только в аэропорту – куда они все летят?

Есть несколько способов выбраться из-под такой куклы. Снять с каблуков – жопа при этом опускается существенно ниже и уходит кобылий размах при ходьбе. Мысленно сцеловать помаду и увидеть бледную щель на месте всех этих наливных ягодок нижней губы и алых сердечек верхней. Представить, как она сосет у мужа, буднично и устало. Есть и другие способы.

Алена перешла Большую Никитскую, не замечая машин. Надела черные очки и двинулась в Хлыновский переулок, деловитая и грустная, как собака, бегущая ночью вдоль шоссе.

В центре еще лето. Здесь Москва походит на приморский город: белые стулья в кафе, множество праздных людей, цветочные узоры на островках подземного тепла. Я огляделся и почувствовал себя человеком, работающим в горах, – спустился за солью и спичками, купить «Спорт-экспресс» за неделю. И все равно – эти улицы трудно представить без меня.

Боря Миргородский прохаживался воробыиной припрыжкой под вывеской «Гнездо глухаря» и вгрызался в какую-то плюшку, придирчиво вглядываясь в ее нутро после каждого укуса сквозь дешевые очки.

– Во, – показал он мне, – называется булка с маком. – И заорал: – Где здесь мак?! Что ты купил, аспирантура?

Рыжий кудрявый юноша, подростково шуплый и наряженный как жених, стоял на противоположном тротуаре и делал вид, что Борю не знает. Не выдержал, сорвался и начал прохаживаться до угла и обратно, помахивая портфелем, что-то зло шепча себе под нос и отворачивая покрасневшее лицо.

– Блин, что за люди, – плевался Боря, пожав мне руку. – Двоечники! Одни отошли кофе выпить и пропали. Этого за булкой нельзя послать, купил дерьмо какое-то... Иди сюда, аспирант! Все равно уже расконспирировался.

Юноша вздохнул, пересек дорогу, потупился и прошептал, глядя в Борины сандалии:

– Борис Антонович... Товарищ полковник... Видите ли... Я не предполагал...

– Да что? Что? Что?! Хрен ли, товарищ полковник? Что ты такой вареный?! Вот почему ты план по возбужденным делам не выполняешь... Ах, вот они, – Миргородский живо развернулся. – Пожалуйста, тащатся... Вы что, пустились по магазинам прочесать?! Я же сказал: по чашке кофе – десять минут! Сидели там, языками а-ла-лы?

Три некрасивые женщины в уродливых длинных кофтах, с прыщеватыми лицами, с одинаковыми прическами башнями, зачесанными наверх, застыли на углу, шушукаясь и толкая вперед друг дружку.

– Распустился, распустился ваш отдел, – укоризненно поблескивал очками Боря. – Живете как мухи в сахарнице!

– Там очередь, – подали голос, конфузясь и пряча улыбки в кулаки, подкрадывались ближе.

– Очередь! Очередь! А в сумках что?

– А это мы вам булочек с изюмом купили.

Боря смолк, чтоб не рассмеяться, и радостно подмигнул мне, поправив на запястье часы, похожие на золотого краба с глазищами циферблата, и с сокрушенным стоном распахнул объятия и шагнул навстречу выпущенной подъездной дверью Алене, и распустил незримые усы:

– А-алена Сергеевна! Редко видимся, но вся-акий раз... Па-азвольте... – и сосущее поцеловал ей руку, и безрезультатно попытался удержать. – Но почему я не плечистый, не красивый и не холостой... – пропел. – Зачем я золото надел? Что там?

Не глядя на него, ни на кого не глядя, нагнувшись над сумкой (ключи от машины?), Алена пробормотала, перебирая тонкими пальцами в сумочке элементы для сборки ее ослепительной жизни:

– Общий зал. Отдельные кабинеты – два. Налево – генеральный, главбух справа. Используют штампы и печати разных фирм. Деньги принимают в долларах. Кассир сдачу доставала из сумки. Главный бухгалтер Вера Ивановна. Договора с клиентами не заключают.

Я посмотрела туры в Египет – цены приемлемые. Предложили чай, – спрятала в сумку очки, скользнула ладонью по гладким волосам и побежала к машине – такие не разговаривают на тротуарах. Такие девушки не становятся старухами.

– Ну, эта... – Миргородский кивнул как-то вбок, и в переулок вползла «Газель» с заштопанными окошками, с надписью «Организация безопасности движения» на борту, а следом вторая. Боря растопырил пальцы: пять, пятый этаж. Из «Газелей» выпрыгивали бойцы физзащиты в камуфляжных куртках; черные маски, автоматы и дубинки, как чертовы хвосты; ботинки стучали по асфальту и втекали в подъезд, следом понесся рыжий юноша, стиснув портфель под мышкой, за ним спешили три женщины в длинных кофтах.

В подъезде два седых вахтера раскоряченно стояли лицом к стене, широко опершись руками, словно собирались блевать; у одного съехала фуражка и висела на ухе. Меж ними стоял боец, постукивая дубинкой о ладонь с мясистым, смачным звуком.

– Давай на лифте? – Мы поднимались в подрагивающей и лязгающей кабинке с надписью «Пусть раздавят меня танком, все равно я буду панком», посматривая на этажи сквозь постаринному зарешеченную дверь.

– Что сейчас читаешь, Борь?

– Газету даже некогда... Работаю по двадцать восемь часов в сутки! Если только радио успеваю, одним глазом... Не жарко в ней?

Я успокоительно промычал, натягивая вязаную шапочку с прорезями для глаз, – дыхание щекотно скопилось под носом.

На пятом этаже нас ждала тишина и пустота у железной двери с бессмысленной табличкой «Египет, Кипр, Хорватия, Саммит-тур».

Бойцы физзащиты каменными барельефами на гробнице вождя пластались вдоль лестницы, придерживая за поясные ремни и воротники всех встреченных обывателей – испуганные моргания: что нам будет?

Женщины и рыжий юноша с портфелем не шевелясь стояли за лифтовой шахтой.

Миргородский покосился на глазок в двери и слабым голосом произнес:

– Ну, эта... – и пошмыгал носом. – Что за черт, как осень – начинаю сопатить. Как аллергия. У тебя есть какой гомеопат? Или кто это делает? Иммунолог? Лариса Анатольевна! Позвоните.

Старшая из женщин прошла к двери и тронула кнопку звонка единственным слабым движением, словно боясь потревожить, всего лишь спросить, когда бывают соседи – неделю не может застать, и ровно встала напротив, улынувшись в глазок.

Дверь отворилась. Крашеная блондинка (не успел разглядеть), автоматический голос: «За путевкой? Проходите, пожалуйста!» И дико вскрикнула и повалилась вниз и набок – через нее хлынули спины, и плечи, и черные головы.

И вопли:

– Лежать всем!!! Лицом вниз! Куда ты повернулся, сволочь?! Ноги! Ноги на ширине плеч! Все легли, или стреляем! Брось телефон! – Телефонная розетка прыгнула из стены – лопнуло! – с осколками штукатурки. Грохот, удары втащили нас внутрь, мы спотыкались о перевернутые стулья, вздрагивали от грохота падающих чашек и настольных ламп. Спины... Из-под вырвавшихся подолов и рубашек вылезли жирные телесные ломти, разбросанные, словно взрывом; я смотрел только на обувь, на пыльные сбитые подошвы и тонкие каблук, вот даже маленькие, как у девочки, белые кроссовки...

– Борис Антонович, в туалете закрылась! – орал рыжий юноша.

Боря развел руками: что ты будешь делать – женщины, поднял опрокинутое кресло и присел за компьютер, тронув плечо девушки в белой блузке, лежавшей под столом:

– Ваша машина? Есть «Сапер»? Любимая игра Шамиля Басаева!

Тетки рассаживались за расчищенные бойцами столы, готовили авторучки и чистую бумагу.

– Открой, тварь! – орал юноша. – Считаю до трех! – Махнул рукой: ломайте – и веселой пробежкой бросился в кабинет налево; за ним топали бойцы, задрав автоматные дула, следом спешил я.

– Лежим тихо! – С оглушительным треском дверь туалета рухнула внутрь, пыхнув строительной пылью, брызнуло зеркало, и руки выволокли наружу тощую истеричную бабу в уборщицком халате – она не могла идти от страха, ее мешком протащили в зал и бросили вдоль плинтуса; ломавший дверь боец присосался к окровавленным пальцам, – женщинам можно встать. Каждая со своим паспортом подошла к вот этому столу!

В дверях кабинета хозяин не выдержал и забарахтался, его незаметно и сильно ударили прикладом, и он с мучительной гримасой обвалился в высокое кожаное кресло «Босс», такие долларов шестьсот. На лице Чухарева я не находил глаз: он то щурился, то поднимал брови, сваливал голову набок, простуженно мигал вспухшими веками, поглядывал в стену, как попугай в рекламе строительных красок.

– Вы генеральный директор «Орион-К»? – Юноша смахнул на пол серебристый мобильник Чухарева, и тот улетел под шкаф, выблевав крышку и аккумулятор. – В вашем офисе проводится оперативное мероприятие налоговой полиции по заявлению граждан о проведении незаконных сделок, – и вихрем носился по кабинету. – Что в этом столе? Открывайте. Что в барсетке? Что в карманах? Быстро встал!!!

Чухарев стоял с поднятыми трясущимися руками, бойцы выбрасывали на длинный приставной стол связки ключей, визитницы, записные книжки, дискеты, папки с бумагами, фотографии, носовые платки. Я перебрал фотографии, роняя отсмотренные на пол. Где же Нина

Уманская? Старики-родители, семейные праздники, счастливая жена на верблюде и на фоне ветряных... Я залез в холодильник, притворявшийся встроенным шкафом, достал бутылку «БонАквы» без газа, бойцам вытащил две бутылки «Хеннесси» и бутылку «Джонни Уокер».

– Так... Откройте сейф.

– Ключей нет.

– Ты что говоришь такое, сучонок?! – замахнулся на него ближний, и Чухарев страшно вздрогнул. – Ключи начальнику! Ломать будем!

– Константин Геннадьич, – окликнули юношу из-за двери. – Ну, мы...

– Документы – в коробки. Компьютеры, оргтехнику, телефоны – все выносим. Завтра будем описывать. Техника у вас на балансе? – юноша мазнул взглядом по онемевшему Чухареву. – Ваша личная? Значит – ничья! А может, еще и ворованная – надо проверить. Только мебель оставляем. Сейф открывайте, Чухарев. У вас там что, наркотики?

– Обыск... только с санкции прокурора, – срываясь в бабы визги, выдавил генеральный директор.

– Когда он даст санкцию, ты уже будешь сидеть, – юный Константин Геннадьевич прилег на стол и шевельнул рукой вываленный хлам. – Чьи это печати? Чьи штампы? Почему на путевках «Орион-К», а в приходниках «Саммит-тур»? Что за ООО «Ираида»? Это же чистая сто девяносто девятая. Ты уже сидишь, парень. Из твоего окна всю Сибирь видать.

В кабинет экскурсионно-утомленно заплелся Боря и извлек из кармана серебряную чайную ложку с витой ручкой.

– Секретарь сказала – ваша? Интересная такая штучка.

Чухарев согласно вдохнул со страдальческим всхлипом и опустил за стол. Его породистая смуглость теперь отсвечивала синевой, кудряшки дождливо прилепились к вискам. Он сидел как привязанный, только голова не держалась ровно, словно из шеи вынули позвонки.

Миргородский убрал ложку в карман, вернул на переносицу съехавшие очки и устранился, прошептав – но чтоб всем было слышно – бойцу тяжеловесной стати:

– Только не так, как в прошлый раз. А то проверяемый катался в истерике, два ребра сломал, а его адвокат написал – ты помнишь? – *его били!*

Я вскочил и по Бориным следам перебрался в кабинет напротив, где оцепенело молчала маленькая женщина со старческим лицом.

Она сидела в углу, как можно дальше отодвинувшись от стола, и смотрела себе на коленку. На столе веерами лежали раскрытые тетради и кипы листов, соединенных скрепками.

Женщина вздрагивала, когда в комнату кто-то входил, и щипала рукав бордового свитера. Казалось, она не видела Бориных девочек в длинных кофтах – одна писала, другая спрашивала, то выпуская когти, то глядя бархатной лапкой:

– Вера Ивановна, ну посмотрите на меня. Ваши сотрудники уже показали, что вы главбух. И зарплату выдавали вы. В конвертах. Черным налом. Покажите мне штатное расписание. Нет? Твою мать, прости меня, Господи! Вот! Смотрите, берем приходник за сегодняшнее число. Я задаю вопрос: где у вас, Вера Ивановна, проведены эти деньги?! Вы не волнуйтесь. Спокойно смотрим кассовую книгу. Вот сегодняшнее число... Что же получается? Пишем: средства за вырученные путевки в кассовой книге не отражены. Черная выручка. Так? Да не надо молчать. Это же ваша подпись на приходнике?

У женщины плаксиво наморщился подбородок и отрицательно вздрогнул.

– А кто же это расписывался? Мы же сейчас вызовем почерковедческую экспертизу. Вот тогда придется поплакать. Если по-человечески не хотите. Дети у вас есть?

В горле у женщины что-то клокотнуло.

Боря переместился к подоконнику и открыл окно пополам – освежить; один из бойцов вскочил и выбежал вон – прогрохотал по лестнице на улицу.

– Пока мы с вами по-хорошему разговариваем, Вера Ивановна. Просто общаемся. А будет по-плохому, когда допрашивать начнем. Деньги в мешке из вашего стола чьи? Ваши? Не ваши. Фирмы? Есть подтверждающие документы? Понятно, деньги ничьи. Изымаем. Борис Антонович, налицо преступление – кассового аппарата нет. Все приходники на валюту. Главный бухгалтер молчит. Ни документов уставных, ни расчетного счета...

Миргородский словно проснулся:

– А что вы на нее все вешаете? Лицо честное, симпатичная такая девушка...

Лицо бухгалтера скобками перехватили мучительные морщины. Она отворачивалась от примостившегося напротив Бори. Не хотела его слышать.

– Может, и не она расписывалась. А может, и вообще она не Вера Ивановна, – думал вслух Боря. – Вы хоть паспорт у нее смотрели? А то вцепились... – И тише спросил: – Вы кто? Уважаемая, паспорт ваш можно посмотреть?

Бухгалтер брезгливо всплеснула рукой. Паспорт шмякнулся на стол.

Боря без промедления выбросил паспорт в окно и с прежней теплотой продолжил:

– Паспорт свой покажите, будьте добры. Вы кто?

Главбух вскочила, лягушачьи подергалась и уткнулась в кулачки, похоронно заголосив, захлебываясь, гавкая:

– Ат-дай! В-выбросил! П-паспорт давала! – У нее распухало лицо, губы, горло, она уже не могла говорить, только шипела, прерываясь на измученный вздох.

Миргородский превратился в огорченного очкастого учителя, диктующего проверочную работу:

– Вот так, ребята. Я как чувствовал. Паспорт отсутствует. Других документов, удостоверяющих личность, не предъявлено. Объяснений не получено. Следовательно, везем в камеру предварительного заключения и оформляем на трое суток для выяснения личности. Сегодня четверг? Во вторник вечером выйдет. Лариса Анатольевна, вызывайте милицию. По факту мошенничества. Главный бухгалтер без документов. Имени не называет.

Послышался стук пальцев по телефонным кнопкам.

– Какое тут отделение...

– Да вы звоните «ноль-два», там переключат.

– Не надо. Я вас прошу – не надо! – вдруг выдавила главбух таким истерзанным голосом, что у меня заныло сердце. – Не надо! Не надо! – Я понял, что скоро она будет биться головой об стол.

В комнате что-то задвигалось, переместилось и стихло.

– Вера Ивановна, – Боря нагнулся с врачебной небрежливостью к главбуху и с натугой оторвал поочередно руки, прятавшие красное, измятое лицо, – идите-ка вы домой. Хватит уже. Ради чего вы себя мучаете? Милая женщина, в данном случае вы ответственности никакой не несете. Пишите, Лариса Анатольевна. Вы что, оформлены приказом? Нет. Образование небольшое, верно? Бумаги подписывали не вникая, так? Что приносил генеральный, то и подписывали. А как по-другому? Он же генеральный. Фактически Чухарев принуждал вас, да? Он выполнял функции главного бухгалтера, а вы занимались *чисто канцелярской* работой. Видите, хорошо у нас получилось, – рассмеялся Боря. – А вы плакали. – На стол упал доставленный с улицы паспорт. – Расчетного счета не открывали. Наличку возили в банк и клали...

– На счет генеральному. – Главбух схватила паспорт и согревала в руках.

– Ну и все! Лариса Анатольевна все запишет, даст подписать, и идите домой, никому вы ничего больше не должны. Господи!

Лариса Анатольевна быстро заполняла листы крупными буквами, я заглянул в зал – выносили вон тяжелые картонные коробки, замотанные скотчем, мониторы, кадки с цветами, снимали шторы, срывали календари со стен.

– У кого паспортные данные переписаны, свободны. С собой только личные вещи. Офис будет опечатан до окончания проверки. Это месяца два-три.

Сейф уже открыли. Чухарев пересел к стене. Из него вынули еще пару позвонков, он горбился, нависал над коленями. Но пытался говорить, не отрывая беспокойных глаз от пересчитывающих и упаковывающих рук, отвечал прерывисто, с непонятной отдышкой, ему казалось, если говорит – может что-то изменить, не добьют живого.

– Сорок четыре тысячи долларов. Чьи это деньги?

– Это деньги... моей... фирмы.

– С какой сделки получены денежные средства? Какие путевки продали? Где подтверждающие документы? Деньги – ничьи. Изымаются.

– Вы не имеете права!

– В суде объяснитесь. Договор на аренду помещения где?

– Только собирались заключить. Мы недавно заехали.

– Недавно? Да ты у нас уже четыре месяца на прослушке! Пишем: деньги за аренду не проводились. Ты еще и хозяина помещения подставил, мешок – по цепочке и он пойдет. Уставные документы где? В Москве фирма зарегистрирована?

– Да... Я даже не знаю... Документы на перерегистрации. В юридической фирме одной. Не помню названия. Мальчик от них какой-то приходил, все забрал. Сейчас не вспомню, как зовут. Деньги вы не должны забирать.

– По данным московской регистрационной палаты ваша фирма не зарегистрирована. В налоговой инспекции на учете не стоите. Так, что тут... Авиабилеты, сто тридцать четыре штуки. Четыре пачки загранпаспортов... Слушай, складывай так и опечатывай, завтра опишем. Тут их до хренищи.

– Я вас прошу, – вскинулся Чухарев и затряс руками, – эти группы вылетают послезавтра, люди планировали отдых. С детьми! Они все оплатили! Поймите, это невозможно! – Он все ждал, чтобы хоть кто-то к нему обернулся. – Что я им скажу?!

– По закону изымаются все бланки строгого учета. А паспорта надо пробить. Вдруг они ворованные. Ведь как бывает: паспорт есть, а человек давно умер.

– Я вас у-моляю. – У Чухарева не осталось сил держаться, глаза заблестели, заколыхалось горячее кисельное нутро. – Меня убьют. Я не смогу жить. Это не мои деньги. Я их должен. По-человечески отнестись... Я вас отблагодарю!

– Так надо было в соответствии с законодательством, – заплелся опять Миргородский и потряс исписанными страничками. – Бухгалтер ваша все описала. Что ж вы без контрольно-кассового аппарата? Заканчивайте.

Коробки выносили караваном, кабинет пустел, я подобрал со стола оловянного лыжника в зеленом маскхалате и сжал в кулаке. Константин Геннадьевич умчался руководить погрузкой. Чухарев лип к Боре и шептал только ему, не решаясь погладить плечо:

– У меня просто опыта мало. Я думал зарегистрироваться. Дайте месяц. Ровно один месяц. Я умею быть благодарным. Хотел посмотреть, как пойдет. Смогу ли раскрутиться. Или остановиться. Я не мог рисковать – это не мои деньги, я вам клянусь. Взял под большой процент. Им не объяснишь. Меня убьют. Если эти группы не улетят, понимаете, мне не жить. Месяц – и я все оформлю, все заплачу. Я вам заплачу.

– Ну, здесь чистая сто семьдесят первая, незаконное предпринимательство, – с необъяснимым одобрением улыбнулся Боря. – Это уже гарантировано с отсидкой. Лет пять. На первый раз дадут три-четыре. Выпишите гражданину повестку на понедельник. Придется еще налоги государству заплатить, штраф и пени. Есть что-то в собственности? Квартира приватизирована? Но это как суд решит. А суд такие дела решает автоматом. Надо офис опечатывать. Берите вашу курточку.

Мы прошли мимо сдвинутых столов, по осколкам чайных чашек, горкам бумажного мусора, выброшенного из урн, и потушили свет.

Чухарев не отступал от Бори, он что-то улавливал ответное в блеске очков:

– Я ничего не понимаю. Если я не верну все деньги, меня убьют, вы понимаете? Клиенты должны послезавтра вылететь, они все заплатили, в чем они виноваты? Хотя бы паспорта и авиабилеты... Что я им скажу? Что мне им сказать? Вы скажите!!! – вдруг заорал он, и я испуганно оглянулся. – Я подам на вас в суд!

Боря пожал плечами:

– Надо было с контрольно-кассовым аппаратом.

Дверь опечатали, вниз все отправились почему-то бегом. Чухарев внезапно замолк, словно печать легла не только на дверь, он остался там, наверху, как сторож, и сел, по-моему, на ступеньку. Все разлетелись по машинам, Миргородский с наслаждением устроился в серебристый «Ауди»: подбросить?

Я сунул в карман маску и, не решив, куда теперь, испытывая мелкое удовольствие, как от убийства комара, остановился у театральных касс и разглядывал парусные флотилии салфеток на ресторанных столах через дорогу – салфетки торчали, как яблони, замотанные на зиму в мешки от заячьих зубов. Жалко, что нет фотоаппарата. Осень. Паучок цепляет мне на голову седые паутинки. И не успокоится, пока не оплетет всего. Остается сидеть и смотреть на проплывающие мимо корабли.

Чухарев уже пересек улицу, когда я заметил его. Он неприметно плакал – взъерошенный, неуместно загорелый человек; то поморщится, то потрет глаза, идет в бреду, виляя, видит меня не узнавая... Больно? а как ты мне? Обернулся на окна пятого этажа, свои окна, вздыхая так, словно забивал невидимые сваи, – конечно, привычная улица теперь кажется совершенно другой или, напротив, в точности прежней, и от этого еще страшнее. Никаких прав находиться тут у тебя больше нет, ты не живешь, тебя склевала бешеная курица, и ни о чем ты не сможешь больше думать дни, месяцы, недели, не сможешь спать, есть, остановить садистские, мучительные мысли... И запоздалая мудрость, *как надо было*... и безумные мечты найти сильного друга и спастись, и жутко отомстить именно этим, наглым, чтоб плакали они, – и зачем я при них плакал, и они *видели*... И страх, вот главное – страх: ты никогда не станешь прежним и не обнимешь свою беременную бабу в беззаботном покое, а теперь – беги... Чухарев ссутулился и рванул в переулок, думая, как много надо успеть, попытаться, смочь, хотя все, что ему посильно теперь, – исчезнуть. Беги, теперь ты там вместо меня, а я свободен от всего, кроме главного.

Море

На время работы по Большому Каменному мосту нужно снять квартиру. Я захлопнул атлас московских улиц и выбрал город Феодосию, конец весны. И полетел на «Як-42». Пассажиры с оттенком ужаса рассматривали самолетик размером с пенал для карандашей. Забираться на борт пришлось по раскладной стремянке в пять ступенек в отверстие под хвостом. Когда дверь в кабину пилотов приоткрывалась, можно было, не вставая с места, протянуть руку и потрогать погон на рубашке командира корабля.

Я посматривал на снежную плотность облаков, не веря, что они не удержат, если на них прыгнуть.

Я летел хоронить свои тридцать семь. Они хорошо послужили мне и шли долго, прикрывая собой, но теперь кончились, и через шесть часов четырнадцать минут мне сравняется тридцать восемь. Уже немолодой мужчина бросит взгляд на свои морщинистые руки в триста втором номере гостиницы «Лидия». Лучше бы стал священником и плодил детей. Самолет снижался: крыши сараев, гаражей и домов, автомобили, россыпь могил и такой же россыпью – овечьи спины.

И когда я появился там и пошел по бесконечной улице Федько, меня сразила безупречная тишина: редкие прохожие ступали без каблуков, густел воздух, по верху заборов змеилась колючая проволока, в восемь вечера Феодосия спала безмятежно. Тишина на огородах, садах, в сточных канавах тот запах, что хотелось признать морским, пьянящая тишина, нарушенная однажды пронесшейся над головою чайкой.

Я почему-то спустился к набережной, вместо того чтобы отправиться в гостиницу напрямую – здесь город распускался, как цветок в последний весенний день навстречу лету. Уже горели гирлянды в пустых кафе и барах, на привычных углах караулили передовые отряды армии таксистов, гремели безлюдные дискотеки, гуляли официанты кантри-бара, наряженные ковбоями. По набережной плотно валили люди, одетые по-осеннему, но с курортной жадностью глядя на встречающих. Золотодобывающая драга черпала пока на холостом ходу, но ее уже включили, выставили мисочки с вареными креветками и аппараты для определения роста и веса. Море дышало холодно, спокойно и радостно. Я шел не известным никому путником по другой земле.

Я заперся в номере почитать.

Начиная новую работу, я всегда читаю жития отцов.

Дела людей правды достается описывать особенным людям правды, тем, кому повезло уцелеть до старческого слабоумия, избежать профессиональных заболеваний рудокопов, описываемых неловкой скороговоркой на предпоследней странице: переведен в начальники шахты на Чукотке, уволен за дискредитацию органов, лишен воинского звания и уволен из органов, осужден на десять лет лишения свободы, исключен из партии, покончил с собой, приговорен к высшей мере наказания, умер на допросе, был арестован и после непродолжительного следствия расстрелян... «Наступил трудный период, связанный с недоверием к людям, особенно к тем, кто длительное время проживал за границей. Через полгода Муравкин был арестован органами НКВД. Дальнейшая его судьба неизвестна» – из восьми первых начальников внешней разведки семь расстреляны и один погиб в автомобильной катастрофе – как апостолы!

Тем, кто доплыл до берега («скончался Иван Андреевич Чичаев 15 ноября 1984 года в своей малогабаритной квартире в доме на Серпуховском Валу. За гробом покойного на алых подушечках несли его государственные награды – орден Ленина, два ордена Красного Знамени, орден Красной Звезды»), в расплату пришлось поскрипеть перьями, заняться покраской

паровоза, чтобы он казался тем, чем должен казаться, чтобы и дальше повез ребят, чья очередь придет заглядывать в адские топки. Я читал эти письма не ради первых строк.

Кочегарам казалось неловким прямо приступать к диктовке, прежде чем перейти к стальному «инстанция отклонила», «по поручению инстанции», «принято решение установить, скрытно задержать и переправить»; «в ходе допроса Даген категорически отрицал, что занимался шпионажем в пользу иностранного государства. А десять дней спустя он умер в результате падения с десятого этажа здания, где располагался его офис»; «погиб при невыясненных обстоятельствах: был найден в бессознательном состоянии с проломленной головой в одном из кинотеатров и спустя два дня после операции умер от пневмонии».

Для разгона требовалась что-то присочинить, и они разрешали себе пару праздных фраз «ни о чем» – и в этих необязательных словах сквозит ветер, пахнет сиренью, летят пушинки, несущие семя. Это всего лишь бесхитростный вымысел не умеющих красиво выдумывать людей, но, как случается часто, только в вымысле и осталось то, на что они не имели права, – та часть их жизни, которую без остатка перечеркнула смерть, – все, что не нужно; то есть почти все.

Это похоже на фотографии. Удобный способ хранить прошлое и успокоить себя – вот, альбомы стоят на полках. От захлебывающегося первого смеха на всесильных руках молодой мамы до оцепенелого молчания над гробом, из которого торчит пластмассовый нос, обложенный гвоздиками, с промежуточными портретными остановками на школьных дворах, залах бракосочетаний, надречных лугах и застольях. Живому человеку не из наших трудно остановиться и не пролистывать дальше: если увеличить глаза сфотографированного человека (качество даже первых фотографий девятнадцатого века позволяет произвести такую операцию), можно увидеть отразившийся в зрачках мир, комнаты, двери, вечно безликого фотографа, небо и горы – все, что видели они, когда еще жили. Понятно, на это трудно решиться, понятно, почему мне нравятся только первые абзацы. В них скрыта сила, что мне нужна.

«Стоял душный августовский вечер 1950 года. Прохожие в Тель-Авиве, словно сонные мухи, медленно передвигались по улицам. Пожалуй, единственным человеком во всем городе, который не замечал ни жары, ни духоты, был резидент советской внешней разведки в Израиле Владимир Иванович Вертипорох...»

«Летний день 1934 года был на исходе. Начальник Иностранного отдела ОГПУ А. Г. Артузов подошел к окну, задернул шторы и включил настольную лампу под зеленым абажуром...»

«Январь – не лучшее время года в Шанхае. Огромный город пронизывают холодные ветры с океана, нередко улицы города заливают дожди со снегом. В непогожий день января 1939 года советский разведчик Николай Тищенко вышел на улицу, плотно запахнув кожаный реглан...»

Последним вечером весны я вышел из такси у шлагбаума и прошел насквозь охраняемую автостоянку полоской черного асфальта меж автомобильных морд, уступая дорогу малолитражкам «Пицца на дом», – над входом в спортивно-оздоровительный комплекс горели цифры времени в черных табло, похожих на две кости домино.

На длинном, как причал, крыльце обнимались и прохаживались после тренировок кавказские мастера спорта, борцы с черными щетинистыми мордами, местное раздевалочное ворье, еще не научившееся смывать за собой в унитазе. У стеклянных дверей на входе веснушчатый мальчик просил прохожих добавить два рубля на неоглашаемую покупку. Он выходил на промысел третий год и заметно подрос за это время. Каждому, кто проходил безучастно, шипел в спину: «Ка-зел!»

Девушка – вот она, ждет, рядом женщина в синем фартуке давит сок из половинок апельсинов и грейпфрутов, – тяжеловесная девушка в черной кожаной куртке закутала плечи светлым коричневым шарфом.

Под моими губами вздрогнула прохладная душистая щека. По ступенькам в подвал, дежурная слепо подняла голову в полянке настольного электрического света, нарисовала фиолетовый крестик в разлинованной ведомости, приняла полторы тысячи рублей и, высунувшись из окошка, как из норы, выдала две простыни с указанием: седьмая.

Седьмая сауна. Я потрогал синюю и красную трубы и крутанул цветочек вентиля – в бассейн плевком ударили струи воды и запенились, выгибая зашипевшие спины.

– Раздевайся. – Я достал из рюкзака фотоаппарат и открыл объектив – линзы должны привыкнуть к разнице температур.

Девушка ходила за мной одетая, делая вид: все так интересно – парная, обитая потемневшими досками, массажная кушетка, стол для бильярда, бар... Задумчиво опустилась на диван.

Я поднял ее и принялся расстегивать пуговицы на юбке, она втянула живот. Сегодня как-то по-другому накрашила глаза.

Я раздевал ее заволновавшимися руками, девушка поворачивалась боком, спиной, поднимала руки, переступала через упавшую юбку. Запах подготовленного тела... Села, давая возможность заняться туфлями и очищением ног от чулочной кожи, глаза мои закрывались сами собой. В технических паузах приходилось целоваться. Чем она мажет щеки?

Когда я взглядывал на нее, она запрокидывала голову и закатывала глаза. Постонать фантазии не хватало. Возможно, учебные фильмы смотрела, убирая звук, чтобы не разбудить родителей и бабушку.

Остались трусы – треугольной заплатой на широком лобке. Золотисто-серебряные, как фольга на моем любимом мороженом «Волшебный фонарь». Специально купила, а потом поворачивалась и приседала над уложенным на пол зеркалом, вырывала лишние волоски... На лице девушки мелькнуло жалкое победоносное ожидание. Следовало что-то сказать.

– Ты очень красивая... Сними...

Она, сконфуженно склонив голову, скатала трусы вниз.

– Хорошо. Ты такая красивая. Отойди, пожалуйста, вон туда. Достаточно. Нет, не садись. А можешь вон туда залезть? И спиной повернись. Свободно встань, как тебе удобно. И еще повернись.

Покраснев от напряжения, она забралась на массажную кушетку, убрала волосы с лица и, танцевально расставив руки, крутанулась пару раз, раскачав огромные груди с большими коричневыми сосками. Я подошел ближе, рассматривая ее через видоискатель, ближе, дальше, спуская затвор.

Попискивала автофокусировка, я фотографировал бледные, с синеватыми нитками сосудов ноги с шершавыми на вид икрами, зад, натертый до малиновых пятен с кровавыми точками, темнеющую синеву и не знал, что еще попросить ее сделать.

И еще пару снимков, очень крупно – лица, старавшегося красиво замереть, просмотрел на дисплее все снятое, нажал кнопку со значком «корзина». «Erase all images?» – спросил фотоаппарат, – «Ok».

– Пойдем в бассейн.

Я завернул кран, и все стихло. Успокоилась, стала прозрачной теплая, легкая, словно несуществующая вода. В бассейне девушка, видно, что-то решив, сразу подобралась ближе и забралась на меня: руки на шею, ноги за спину. Я потыкался в мокрую слоистую плоть. Девушка выдохнула:

– Ох...

Мы качнулись. Я двигал ее вверх-вниз, как поршень убудочной какой-то ткацко-паровой машины, разгоняя волны по бортикам, и пялился на крохотное окно в пластиковой раме под потолком – там наступала ночь. Я чувал только однообразное проникновение плоти в пресную, свободно раздавшуюся нору. Только неудобство и очень скоро – тяжесть. Особенно раздражали волны, которые я гонял, – громко чавкали в кафельные стены и возвращались мощ-

ными касаниями. Мокрые волосы девушки противно елозили по левому плечу, груди давили на живот комками жира. Так никогда... не кончится... Я освободил правую руку, потянул за веревку и вырвал черную пробку, затыкавшую слив. Но вода будет сходить так долго, что успею содохнуть. Повернуть ее, что ли, задом... Чтоб хоть слезла. Да ну ее на хрен!

И я сдернул с себя сопевшее тело.

Девушка немедленно сказала:

– У-у, – обиженно вытянув губки.

– Здесь жарко.

Я постоял под душем.

– Подождите, – она тоже врубил душ и оказалась за моей спиной с прозрачным флаконом синего геля.

Выдавила лужицу в ладонь и неуверенно понесла к моим плечам, съехала на спину, вернулась на ключицы, но больше никуда, словно все остальное у меня отрезало тепловозом. И прятала взгляд. В полуночном кино делали так, и именно так она себе представляла многократно, а многократные утренние мечты в постели срастаются в материальную давящую силу и беременным чревом выпирают в реальность и не дают вздохнуть, пока не родят скучных детей. Девушка боялась не дожидаться следующего раза.

По коже сладковатое течение густой воды, напитанной тяжелой, мягкой пеной...

Я растерянно постоял, не зная, что теперь? – намыливать, что ли, ее? – скользнул рукой по мокрому животу под морозящим душем, прижал поросль на лобке, крутанул меж мягких стенок, похожих на диванное поролоновое стеганое нутро; добавил с чувствительным для нее усилием – она вцепилась в мою руку...

Два душа с ревом, шелестом, водяным грохотом били в плиточный пол, я закрыл глаза, словно меня несла горячая река, поток... вот теперь что-то представить... спазм заглотнул, запнулся, задрожал и плеснул наружу первую больноватую судорогу...

– О чем вы сейчас думаете?

– Это тебя не спасет.

Я страдальчески ждал, а она одевалась, сушила волосы, с сокрушенными вздохами трогала перед зеркалом веки и ресницы, застегивала туфли, вдобавок попросила:

– Можно, я минуту посижу? – И после молчания, словно прочла где-то: – Со мной останутся ваши губы. Руки.

– День. Два.

– Я буду помнить тебя всегда. Вы так не похожи на всех, кого я знала.

– Интересная же была у тебя жизнь.

– Я никогда не жила так... наполненно. Все время жду тебя. И всегда буду ждать. Когда вас долго нет, я плачу.

Я осторожно сжал ей ладонь, чтоб жизнь ее не хрустнула сразу.

Долго ловили машину, прошел дождь, осталась влажная тьма. Девушка пыталась стоять ко мне ближе, но так получалось, что я все время отступал.

– Это тебе на такси.

– У меня есть деньги.

Она решила стать сильной.

– Теперь еще через три месяца?

– Да нет, конечно. Я буду звонить.

– Я что-то делаю не так?

– Почему? Ты удивительно красивая и загадочная девушка. Мне с тобой очень хорошо.

– Почему мы тогда так редко видимся? Если я делаю что-то не так, вы скажите. Чтобы я знала. Чтоб на будущее знала. Чтоб потом делала все так.

Она просто не выговорила «с другими», и что-то кольнуло меня спицей в сердце. Я сказал водителю:

– Большая Очаковская. Двести рублей, – распахнул заднюю дверцу и бегло обнял девушку, опустившую лицо. – Доедешь – позвони.

В Феодосии я прочел материалы по Большому Каменному мосту, помечая карандашом возможные места вскрытия, и спустился поужинать в ресторан, в пустой зал. В баре толстая певица с икрами, как рояльные ножки, рассказывала двум туркам, что у нее нет любви и хочется погостить за границей. Тот из турков, кто по-русски почти не понимал, то неуверенно клал певице руку на жирный бок, то снимал, и она натужно хохотала.

Я узнал у портье расписание бассейна и взял ключи от «бизнес-центра», комнатки, где установили компьютер, подключенный к Интернету. Для спокойствия набил в «Поиске» Rambler'a «Большой Каменный мост» – больше двух тысяч упоминаний, гора. Из первой сотни вытащил ссылку, наугад. Газета «Совершенно секретно».

Открылась длинная статья про дом в Романовом переулке (в советские годы называвшемся улицей Грановского) – там жили маршалы и наркомы времен императора Сталина, а потом их дети и внуки.

Кусок статьи я прочитал. Подумал. Прочитал еще раз с беспокойным вниманием. Речь шла о месте на Большом Каменном мосту, где я проходил совсем недавно после паровой прогулки. Но речь шла не только об этом месте. Я выделил – получилось шесть абзацев – и послал на печать:

«Эти дети могли носить в кармане пистолет. У руководителя авиапромышленности Шахурина, высокого, белобрысого мужика, был сын Володя пятнадцати лет. Парень влюбился в дочь дипломата Уманского, которого назначили послом в Мексику. Дочь звали Нина, тоже пятнадцать лет. Жили они в другом доме, „Доме на набережной“, где квартиры были больше, где при входе в гостей не вцеплялись вахтеры, где от старых большевиков передалась жильцам привычка к честной бедности и чтению книжек.

Объяснялись Нина и Володя на Большом Каменном мосту, как раз посередине между домами, на лестнице, спускавшейся к Театру эстрады.

Или он просил ее не уезжать. Или приревновал. Или просто хвастался. Короче, девочку Шахурин-младший застрелил, наповал. И выстрелил в себя, умер, пожив еще день. Это было в 1943 году.

Весь дом клокотал: „Вот что сыночки начальничков себе позволяют“.

Сталин сказал: „Волчата“.

Мальчик вроде был неплохой, но сразу всем опротивел, хоронили Володьку пышно, весь двор в венках, а кто-то говорит, что мать его тужила недолго: пошли гулянки, цыганские романсы на весь подъезд, отца репрессировали, мальчик лежит на Новодевичьем, девочка в урне, в стене, рядом ее отец и мать, разбившиеся на самолете в сорок пятом году».

Я посмотрел в окно, в ночь, в завывание автомобильных сигнализаций. Звезды сияли как чисто вымытые. Лег, потушил свет, в темноте подтянул к себе телефон, пытаюсь припомнить несколько цветных вещей, – не вышло ничего, красок нету. Ничего нет – дома, семьи, женщины, родителей, любимой работы. Хоть сдавай на права и покупай черную спортивную иномарку. Есть стакан воды и кусок хлеба. То есть все в полной готовности, можно начинать.

Невидимка

На песке от пребывания Константина Уманского остался короткий, прерывающийся след. Почти никто не захотел помнить погибшего отца красавицы, застреленной в тысяча девятьсот сорок третьем. Мы встретились с Гольцманом до завтрака, пока пляж не заполнили старухи и дети, и проползли буквально на коленях от отпечатка к отпечатку все эти сорок три года, пока волны не слизали их в обмылок размером с черточку, выдавленную в бетоне между цифрами 1902 и 1945.

– Еврей. Родом из Николаева, сын инженера. После революции оказался в Московском университете, но учился от силы год. Проявил исключительные лингвистические способности. Английский, немецкий, французский знал хорошо. Итальянский, испанский слабее. С ходу написал книжку о новом коммунистическом искусстве. Вот, к примеру, прочту тебе об одном персонаже: «И хотя Кандинский вследствие своего долгого пребывания за границей часто оценивается московским окружением как западный элемент, я нисколько не сомневаюсь в его чисто славянских корнях, в его по-восточному решительном стремлении вырваться из пут материального, в его чисто русской гуманности и всечеловечности».

Народный комиссар культуры Луначарский отправил семнадцатилетнего мальчика в Германию «для пропаганды новых форм искусства». Один дурак написал: мальчик «слыл в Москве известным искусствоведам». В Германии Уманский забыл, зачем ехал, превратился в сотрудника российского телеграфного агентства и тринадцать лет жил сладко: Вена, Рим, Женева, Париж, изредка навещая социалистическое строительство.

С 1931 года он в Москве, заведующим отделом печати наркомата иностранных дел. Иностранцам корреспондентам запоминается лютостью в цензуре: кто посмеет написать, что в СССР голод, не получит билеты на сенсационные судебные процессы первых «вредителей». Сопровождает в инспекциях западных литературных генералов – Фейхтвангера, Шоу, Барбюса, Уэллса. Приглянулся Сталину. «Не раз выступал переводчиком при тов. Сталине». Нарком иностранных дел Максим Литвинов называл Уманского «счастливая рука» – бумаги, что тот готовил, император подписывал без правок.

В апреле 1936-го Уманский в США, советником. Прошло два года – посол. Там его не любили. Некоторые историки считают, что в 1939/1940 годах посол выполнял обязанности резидента иностранного отдела НКВД. Отозван в начале войны, но не расстрелян. Два года фактически на почетной пенсии членом коллегии наркомата иностранных дел, и, наконец, повышение – посол в Мексике, вылетает 4 июня 1943-го. Единственная легенда: вручая верительные грамоты президенту, Уманский пообещал – через полгода поговорим без переводчика. И в октябре уже произнес первую речь (мексиканцы не подозревали, что Уманский с юности учил испанский).

В Мексике посол Уманский превратился в «национального героя трудового народа». 25 января 1945 года он вылетел в Коста-Рику, самолет взорвался.

Историк Сизоненко выделил семь версий катастрофы:

1. Трагическая случайность. Пилот взлетел не вовремя, попал в струю разреженного воздуха, оставленную взлетевшими перед ними самолетом, и потерял скорость. Или пилот упустил контроль за машиной, не смог выровнять крен и при взлете зацепился шасси за ограждение взлетного поля.

2. Диверсия немецких агентов.

3. Акция американцев: остановить «коммунистическую угрозу» Латинской Америке.

4. Поляки. В Мексике в годы войны оказалось несколько сот поляков. Восстание в Варшаве, подготовленное «лондонскими» поляками, немцы утопили в крови, и польская сто-

лица именно накануне вылета Уманского досталась Красной Армии, приведшей «московских» поляков. Агенты лондонского «правительства в изгнании» в ответ взорвали посла СССР.

5. Троцкисты, месть Сталину за убийство своего вождя. В подготовке покушения на личного врага императора Уманский мог участвовать – операцию готовили наши люди в США, вряд ли они располагались вдали от посольства. И точно, Уманский старался освободить безымянного ликвидатора из мексиканского застенка. Вдова Троцкого Наталья прямо указала: стараниями Уманского убийце привольно жилось в тюрьме.

6. Уманского убили мексиканские фашисты – враги СССР.

7. НКВД. Император готовился разгромить Антифашистский еврейский комитет. Связи Уманского с Михоэлсом и Фефером и его активная работа «по еврейской линии» в Америке и Мексике не могли остаться без внимания.

Гольцман нарисовал в блокноте всего лишь две фиолетовые птички и после длительного молчания уточнил:

– Это все, что в открытых источниках.

Он побрился, подстригся, достал из-под спуда легкий белый костюм и летние туфли с дырочками. В рабочем состоянии Александр Наумович выглядел всегда слегка испуганным человеком, услышавшим среди ночи незнакомый шорох.

– Вам не кажется странным, Александр Наумович, что Уманского никто не запомнил? За шестьдесят лет – ни одной публикации лично о нем. В дневниках, мемуарах, письмах, комментариях к письмам – ноль. Ни иностранцы – кого он там сопровождал? Ни Горький на своих обедах. Ни друзья – Маяковский, композитор Р-ов, Евгений Петров. Авангардисты – тоже ноль. И друзья промолчали, тот же Михаил Кольцов, а вроде дружили, как братья. Даже белая эмиграция... Мог бы Бунин хоть пару едких строк... А ведь наш клиент – редчайшего обаяния человек. Видный дипломат. Загадочная гибель в цветущем возрасте. Да еще трагическая история красавицы дочери... Как это могло не запомниться?!

– Говорят, нашего клиента не любил Громыко. Он подчинялся Уманскому в Вашингтоне; когда стал министром, запретил его вспоминать.

– Неубедительно!

– У нас есть одна страница со взглядом на жизнь Уманского целиком. Ничего существенного. Примечательно только имя автора.

– Кто-то из репрессированных?

– Если бы! Эренбург. – Гольцман протянул мне ксерокс книжных страниц.

Эренбург Илья Григорьевич, депутат Верховного Совета СССР третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого созывов, лауреат двух Сталинских премий и международной Ленинской премии, вице-президент Всемирного Совета Мира, два ордена Ленина на пиджаке, написал несколько толстых романов, не нужных никому, и казался самым свободным в Союзе ССР.

Он служил стране победившего социализма и императору, когда надо казня, когда можно, спасая, при этом большую часть жизни пронаслаждавшись благоустроенностью буржуазных столиц – неправдоподобно легко пронзая «железный занавес» в поисках «материала» для творчества и отстаивания по инструкции интересов государства рабочих и крестьян в спорах с великанами, циклопами и чудовищами мировой культуры.

Означенный Эренбург приобрел громадную славу во время войны: убей немца! Подсудимые в Нюрнберге как по команде задрали головы, когда им сообщили: на балконе для зрителей появился *сам* Эренбург.

Свидетели описали Илью Григорьевича как «офицера связи» между Западом и Востоком, «сталинского придворного лакея», «непревзойденного мастера жизни» и «ширму». Даже десятая часть свободы, полученной Эренбургом от Инстанции, гарантировала расстрел еще в 1934 году на сто процентов вне зависимости от результатов деятельности. И на десять тысяч

процентов в тридцать седьмом. И каторгу в начале пятидесятых, когда Инстанция отрегулировала температуру национальной самооценки советских евреев. Подворачивалось множество и других подходящих лет и дел. И возможное «офицерство», и вероятное осуществление кое-каких «связей» изменить здесь ничего не могло.

Но Эренбург беспрепятственно прожил свои неплохие семьдесят шесть, заплыв в будущее поглубже императора, и завещал трехтомные мемуары, в незначительной, намекающей частности – о кровавом императоре (свирепые редакторы не давали высказаться прямо!), в основном – о своей чистоте и дружбе (на равных и свысока) с нобелиатами и просто гениями, бегло признав, что не знает ответа на вопрос: «Так почему же Сталин вас не убил?».

Отсутствие достаточного объяснения (если не допускать душепродажи) оставило от правильной жизни Ильи Григорьевича, еще прижизненно называемого в газетах «совесть мира», надтреснутый, дребезжащий отзвук, скрывающий нечто, о чем лучше не знать.

То, что жизнь Уманского осмотрел только Эренбург, что-то означало.

Мемуары он назвал «Люди, годы, жизнь...». Все люди, запавшие Эренбургу в память, говорят одинаковыми бесцветными голосами, словно писал он по-французски, а после кого-то наняли переводчицу.

Он, старший, подружился с младшим, Уманским (разница в возрасте одиннадцать лет), в начале 1942 года, они встречались после работы каждую ночь, в два-три часа. Костя не походил на большинство людей своего круга. По молодости он не попадал в плеяду опального наркома Максима Литвинова, но все прочее, включая происхождение, располагало его поблизости от Максима Максимовича. Не числился он и в «людях Молотова» – следующего наркома (*неуклюжее объяснение чему-то уклончивому, скользкому, раздражавшему, вероятно, многих...*), о прошлом говорил редко (*почему?*). Вот еще книга Уманского – «Новое русское искусство», изданная, оказывается, в Берлине по следующим персонам: Лентулов, Машков, Кончаловский, Сарьян, Розанова, Шагал, Малевич. И обобщение – любил поэзию, музыку, живопись, все увлекало его: симфонии Шостаковича, концерты Рахманинова, грибоедовская Москва, живопись Помпеи, первый лепет «мыслящих машин». В его номере в гостинице «Москва» на пятом этаже собирались адмирал Исаков, писатель Петров, дипломат Штейн, актер и режиссер Михоэлс, летчик Чухновский (*светские персонажи Империи, родители Еврейского антифашистского комитета. А где же жена и дочь? Когда же квартира в Доме правительства?*).

Редкая память и ненависть к чиновничьему духу запомнились Эренбургу, и далее он воспроизвел непротокольный голос Уманского, как бы отпечаток личности, и это единственная возможность услышать, даже в перепеве Ильи Григорьевича, что донеслось к нему сквозь двадцатилетнюю толщу льда, кроме собственного, отраженного временем голоса.

«Мы не понимаем, чем мы вправе гордиться, скрываем лучшее, заносчивы, как неуклюжие подростки, и при этом боимся, вдруг какой-нибудь шустрый иностранец пронюхает, что в Миргороде нет стиральных машин».

(*Инокоры, кстати, ненавидели лично Костю за цензурный садизм, «Костя Уманский, новый цензор, улыбался всеми своими золотыми зубами и сверкал своими очками с толстыми стеклами... Я читал в его золотой улыбке: „Ты не нравишься мне, потому что я эгоцентричный советский делец, но вот увидишь, меня повысят до комиссара“; а он должен был читать в моей улыбке: „Помпезный, маленький карьерист, пользующийся благами революции. Ненавидит меня потому, что я вижу его суть. Мелкий лавочник в закоулках революции“», «В вежливом плетении интриг товарищ Уманский действовал с ловкостью и хитростью, проникательностью торговца, иронически по отношению к „мелким сошкам“ и с подхалимством к вышестоящим, избирательно позволяя себе сибаритские черты...», «Долгое время он чесал свои длинные волосы и скрежетал зубами: „Но, мистер Лайонс, вы сказали, что 40 000 депортированы. Где вы взяли эту цифру?“».*

«Снова неприятность: я предложил отступить от шаблона – и влетело... Первая страна социализма, а пуще всего бояться новшеств, инициативы» (*так говорят мерзлые овощи, тут подлинник не отличим от кухонной пошлости времен уступчивой борьбы за социализм с человеческим лицом*).

Об американцах: «Способные дети. Порой умилительны, порой невыносимы... Европа разрушена, американцы после победы будут командовать. Тот, кто платит музыкантам, тот заказывает танцы... Конечно, Гитлер не нравится розовощеким американцам: зачем жечь, если можно купить? Не судите об Америке по Рузвельту, он на десять голов выше своей партии» (*если и сочинено, то наполовину*).

О Пикассо, клиент восхищался Пикассо: «Я как-то упомянул его имя, на меня гаркнули, он, дескать, шарлатан, издевается над капитализмом, живет за счет скандала. Почитайте стихи Шекспира секретарю обкома (*да видел ли он хоть одного?*), который не знает английского языка, он скажет: „Сумбур вместо поэзии!“ Помните отзыв Сталина об опере Р-ова? А еще есть Жданов... Все, чего они не понимают, для них заумь. А их вкусы обязательны для всех» (*это все, что волновало в дни Сталинградской битвы двух обеспеченных мужчин, людей императора. Ни веры. Ни сомнений. Ни сокращенных временем друзей. Лишь осторожные официантские хохотки за спиной кушающих господ*).

«Мне кажется, он родился под счастливой звездой».

Собираясь в Мексику, Уманский радовался: впереди новый мир, новые люди, там он сможет проявить «некоторую» инициативу!

Но вдруг – счастливая звезда упала «из-за трагической и нелепой случайности» (*любопытно, что Эренбург называет случайностью?*). «Подросток, товарищ по школе» убил его дочь, «после бурного объяснения застрелил ее и покончил с собой». Уманский обожал дочку, только на ней держалась его семейная жизнь. «Я знал, что есть в его жизни большое чувство, что в 1943 году он переживал терзания, описанные Чеховым в рассказе „Дама с собачкой“».

И вот неожиданная развязка драмы.

«Никогда не забуду ночи, когда Константин Александрович пришел ко мне. Он едва мог говорить, сидел, опустив голову, прикрыв лицо руками... Несколько дней спустя он уехал в Мексику. Его жену (*Раису Михайловну*) увозили почти в бессознательном состоянии. Год спустя он писал мне: „Пережитое мною горе меня окончательно подкосило. Раиса Михайловна – инвалид, и состояние наше намного хуже, чем в тот день, когда мы с вами прощались. Как всегда, вы были правы и дали мне некоторые правильные советы, которых я – увы – не послушался“».

Прежде чем поставить точку и Уманского забыть и покатить мемуары дальше, Эренбург развел руками: какие советы я дал? не помню я никаких советов.

...Вода чистая и гладкая. Соловьем заливается сирена на железнодорожном переезде. С севера входят в Феодосию поезда, и местные жители с довольным охотничьим видом ведут приезжих, согнутых под тяжестью чемоданов, по квартирам, как невольников, купленных на рынке. Отдыхающие, несмотря на прохладу последних майских дней, упрямо подтягиваются на серый пляж – другого времени у них не будет. Чайки неожиданно плюхаются в воду. Девушки втыкают зонтики в гальку и раздеваются.

Мы сидели лицом к морю, чувствуя дыхание его и простор пустоты, и море сливалось далеко впереди с небом, как добрая, теплая вечность.

– Какие соображения, Александр Наумович?

– Аккуратный человек. Вопросов по нему много. Обстоятельства гибели дочери, похоже, никому не известны в подробностях. Что советовал Уманскому Эренбург? Получается, эти советы могли спасти Нине жизнь? Неясные повороты в биографии... Выясню, действительно ли Уманского знал Сталин. Взрыв самолета – это вообще... отдельная тема. Меня больше всего

заинтересовало... – Гольцман оторвался от разглядывания моря и повернулся ко мне (напряженное, тяжелое лицо, ярко-голубые, до старческой прозрачности глаза). – Литвинов. Молотов. Громыко. Три министра. Вся внешняя политика Советского Союза. И каждый знал Костю. Громыко не любил и постарался, чтоб Уманского забыли. Литвинов и Молотов, как мы знаем, ненавидели друг друга. Но почему Молотов не тронул Уманского, когда Литвинова посадили под домашний арест и всех его людей репрессировали? И когда Литвинова вернули и отправили на смену именно Уманскому в Штаты, Костю отозвали, но – опять не тронули. И довели через два года Мексику. Чей же он был человек? Почему мы начали с него?

– Отец и мать Шахурина дожили до старости, с той стороны мы кого-то застанем в живых. А жена Уманского погибла с ним в самолете в 1945 году; много ли осталось людей, видевших их живыми, – здесь надо спешить... Родители жертвы больше заинтересованы в расследовании, чем родители убийцы. Меня зацепило другое. Сумасшедший мальчик на вернисаже утверждал: Нину убили третьего июня. Уманский улетел в Мексику четвертого. Так безумно любил свою крошку, что не задержался, чтобы похоронить?! Бедный папа.

Мы поднялись.

– Это все надо проверять. Тебе Костя уже не нравится. Тяжело ему придется. Может, тебе будет любопытно. Вот что мы изъяли в архиве внешней политики, из дела № 1300. Двести долларов стоило. Я расходы записываю.

Я вытряс из конверта двадцать две фотографии: тощий еврей с щелястой улыбкой, густая шевелюра; вот он на пароходе, забрался на верхотуру и расставил широко ноги под толстой трубой, что-то там из себя представляя; вот он уже обрюзг и заматерел, в профиль, с открытым лбом; а вот опять помоложе – приятное актерское лицо; с седеньким Бернардом Шоу у открытого авто, за спиной кремлевские башни; начесанный малыш Костя, щеки, высокие ботиночки, бадминтонная ракетка в белой лапке; а вот лицо покойника – на аэродроме в Мехико, долго добирался, но все Нина перед глазами... в группе иностранцев, обсевших как мухи Царь-колокол, четырнадцать человек, по левому краю фотографии наш человек в фуражке и галифе, единственный, кто в объектив не смотрит; жена у мертвого бетонного забора отвернулась от поля, усаженного мертвыми кактусами, дочь убили, и ей не хочется жить; мексиканские старухи с крестьянскими мослами у роскошных гробов жертв авиакатастрофы; мама т. Уманского – дородная тетя с мужским лицом; с Горьким и Уэллсом, в петлице, кажется, георгины и по цветку на столе перед каждым; речной берег, пятилетняя пышноволосяя девочка идет по траве, подтягивая белые трусы, за ней счастливо жмурится отец и – я приостановился – две переснятые газетные вырезки с почти одинаковыми фотографиями за 13 апреля, понедельник, Вашингтон и штат Небраска, подписано что-то вроде «Константин Уманский, новый советник советского посольства, с маленькой дочерью Ниной запечатлен на борту лайнера „Париж“ по прибытии в Нью-Йорк».

Предпоследнюю фотографию я подольше подержал в руках. Красивая девчушка в хорошем теплом пальтишке, беретка на затылке, прижалась к молодому красивому отцу, засунув руку за воротник его пальто, Уманский присел, и дочка словно повыше его ростом – светятся лица, совершенно одинаковые глаза смотрят в мир.

– Одинаковые глаза. И зубы.

– Вот еще одна фотография. Посмотри внимательней.

Уманский, нацепив очки, почти отвернувшись от фотографа, обеими руками крутит ручки настройки радиоприемника. Справа, похоже, балкон. То ли шторы, то ли обои. На крышке приемника портрет императора и кофейная чашка на блюде. Хорошо выглажен пиджак – стрелки видны...

– Портрет Сталина, – показал Гольцман. – Видишь, на нем что-то написано, внизу наискосок. Можно разобрать «т. Уманскому», а подпись и дата неразборчиво. Неужели Хозяин подписал ему свою фотографию?

– Надо узнать.

– И еще: написал ли мемуары Громыко, – размеренно произнес Гольцман. – Кстати, рассказ «Дама с собачкой», говорят, – любимый рассказ Сталина.

Ищайки и собаки

По телефону я дал объявление в крымской газете «Кафа»: «Организация купит оловянных солдатиков производства СССР. От пяти гривен». Затем я рассчитал, что посмотрю первые пятнадцать минут «Веселые и раздетые» и переключусь на прошлогодний «Манчестер Юнайтед» – «Болтон» в серии «Лучшие матчи премьер-лиги», а потом после ноля тридцати на местном телеканале наверняка начнут раздеваться. Еще оставалось сорок минут, и я пролистал «Даму с собачкой» – рассказ про «будничный ужас жизни», как написано в предисловии. Каждую строчку пытался примерить на Уманского – как подростки моего времени подрисовывали усы, очки и битловские патлы членам Политбюро на газетной полосе.

У героя дочь двенадцати лет. Женили его рано. Жена постарела быстрее, чем он, и оказалась неизящной грозной дурой, домой ноги не несли. Сам он филолог, но служит в банке. И трахает потихонечку подходящих на стороне. Зацепил на курорте маленькую блондинку, муж у ней из немцев и «лакей». Она вернулась с курорта домой, а он что-то не может ее забыть. И находит. Я так страдаю, говорит она, я все время думаю о вас. Начали встречаться по гостиницам. И на пути в одну из них, провожая дочь в гимназию, объясняя на ходу, почему зимой не бывает грома, он вдруг понимает, что живет двойной жизнью, что самое важное он вынужден прятать, на свету одна ложь. Походы с женой на юбилей, работа в банке, споры в клубе – и так, наверное, догадывается он, у каждого. У каждого.

Оба плачут, что прячутся как воры, немного я прочел подряд: «Анна Сергеевна и он любили друг друга, как очень близкие, родные люди, как муж и жена, как нежные друзья; им казалось, что сама судьба предназначила их друг для друга, и было непонятно, для чего он женат, а она замужем; и точно это были две перелетные птицы, самец и самка, которых поймали и заставили жить в отдельных клетках. Они простили друг другу то, чего стыдились в своем прошлом, прощали все в настоящем и чувствовали, что это любовь изменила их обоих».

И туман в конце: что-нибудь придумаем. Чтоб больше не прятаться. Не разлучаться. Хотя не в рассказах с этого места и начинается страшное. Не совсем, правда, ясно, куда денется дочь. Чехов, кажется, остался бездетным, дети казались ему несущественными деталями.

Непонятно, кого под эту глуповатую музыку мог вспоминать император? Не домработницу же Валентину с «ближней дачи», зачисленную нашими идиотами в «многолетнюю связь». Какую «созвучную драму» переживал накануне отъезда Уманский К. А.? В рассказе пустота, лишь призрак другой жизни, кажущейся твоей из-за недоступности; и сразу она, другая жизнь, теряет привлекательность, когда думаешь про долгожданное назначение и отъезд в теплую страну, омываемую Тихим океаном и Атлантическим, чистоту анкеты коммуниста-дипломата или – все-таки про рыдающую дочь, вздрагивающие плечи?

Уманский на глазах Эренбурга страдал, что не может развестись. Что значит его личное счастье жить не таясь с любимой женщиной, рассуждал он в слезах, если Нина останется с отставленной Раисой в Советском Союзе, в этой нищелищнице, потной и кирпичной советской действительности продуктовых карточек и поиска дров, не станет маленькой хозяйкой дворца советского посла в Такубайя, не полетит на каникулы в Штаты к подругам, не освоит верховую езду под руководством красавцев Генерального штаба Мексики; упустит роликовые коньки, рыбалки с яхты в океане, фотографии юной красавицы в газетах, белые платья на балах, прогулки в ночную пустыню, большой теннис и нейлоновые чулки, бассейны с голубой водой под апельсиновыми деревьями, китайские магазинчики на Сорок второй улице и круглосуточные кинотеатры, персонального водителя и массажистку, женись он на другой... И дочь останется с матерью, лишится привычной жизни – он сам приучал: Рим, Париж, Вашингтон...

Ему, человеку, что ловко и увертливо продлевал собственную жизнь в смертоносное время, в минуту самодовольства показалось: он сможет и еще, сможет всегда, *целиком* выстро-

ить дальнейшее, самому выбирая *сужденное*. Костя закупил будущее Нины Уманской, дав справедливую цену: за любовь. Коммунисту казалось: ребята, что смотрят за миром, играют по понятиям, торгуют, как и все, это не сумасшедшие равномерно машут косой, не разбирая *что*, и сгребают скошенное в холмики.

Костя переживал впустую. Он купил дочери то, что не могло ей принадлежать, он ее убил. Он не развелся, Нина собралась в Мексику, и поэтому ей разворотили башку из пистолета. Вряд ли Уманский посчитал себя виновным, но, допуская, много страдал «как все могло быть по-другому», предчувствуя впереди одинокие десятилетия, но опять впустую: три трупа под фамилией Umanski, а не два в «жертвах авиакатастрофы» – вот все, что могло быть «по-другому».

Но это не называется драмой. Это вообще никак не называется, это в порядке вещей.

Я, включая телевизор и пока шла реклама – бах, бах, бах! – пытался подрисовать себя в эту историю, но я туда не вязался. Что за проблема – с кем спать? Я отношусь к женщинам как к собакам. В юности мечтал завести свою, и много раз получалось. Я люблю с ней гулять, рассказывая, как прошел день, или просто молча. И она всегда смотрит на меня так, словно все понимает. Мне так легко сделать ее счастливой, крикнув: «Ко мне!». Она всегда первой встречает у меня у дверей и полгода будет скучать, если я умру. Мне бывает приятно ее гладить, обнимать, и сердце иногда замирает, когда после разлуки она с разбега бросается лапами мне на грудь и лижет лицо. Я забочусь о ее щенках. Меня забавляет ее гоньба за кошками. Я злюсь, когда она бессмысленно лает среди ночи. Она все время норовит забраться в мою постель. Этого нельзя допускать. Спать я хочу один. Спать надо в пустыне, чтобы никто не дышал рядом. Чтобы хотя бы во сне – ты был на воле.

Врач тщательно и непонятно рисовала синей пастой, куда должна поворачиваться при гимнастике голова – стрелочки и дынька головы с треугольным носом.

– В бассейне первые два месяца надо плавать как ребенок, резвись, – она продемонстрировала пару взмахов лебедушки из русского танца. Старший преподаватель кафедры неврологии. В конверте ее ожидала тысяча рублей.

– Не надо воспринимать трагически. Как вас зовут? Александр? Саша, надо просто помнить, что это у вас есть. Исключить осевые нагрузки. Никогда резко не поворачивать голову. Нельзя с постели вставать рывком! Не простужаться. Массаж хорошо. Физиотерапия. Через два года повторить ядерно-магнитный резонанс.

Саша, мы все привыкли с детства, что всегда здоровы, ничего не болит. А теперь настала пора постоянно заботиться о себе, поддерживать жизнедеятельность. Многим это даже нравится – ухаживать за собой, – она привычно улыбнулась. – Вы несомненно здоровый человек! Теперь вопросы.

– Я могу поднять ребенка и подбросить?

– Ну, поднять-то, может, и... Хотя, конечно, зависит, какого возраста ребенок и телосложения...

По больнице стаями гуляли студенты еврейской национальности, старухи шаркали подошвами, подвязанными веревочками к тапкам, в палате оказался дед с огромными желтыми ногтями на ногах, его в восемьдесят девять лет положили в больницу умирать, и так неудачно, затылком к окну – он видел все время меня и вел длительные разговоры, неторопливо и последовательно сводя с ума:

– Тебя как звать?

– Саша.

– Ты хороший человек. Я тебя люблю. В каком институте ты учишься?

– Я не учусь. Я торгую на рынке.

– На рынке?! А сколько же тебе лет?

– Тридцать девять.

- Тридцать девять?! А почему же у тебя такая большая... А ты замужем?
- Нет, я женат.
- А кто он?
- Кто?
- Твоя жена.
- Человек.
- А есть у тебя дети?
- Есть, двое.
- А кто он?
- Сын и дочь.
- А где ты работаешь?
- На рынке.
- На рынке?! Ты хороший человек. А как ты себя чувствуешь?
- Хорошо.
- Спасибо, а сколько тебе лет?
- Тридцать девять.
- Тридцать девять?! Ты пианист?
- Нет.
- А почему?
- Я работаю на рынке.
- А кем ты работаешь в консерватории?
- Я отшвырнул от себя подушку и перебил:
- А вы – кем работаете?
- На рынке.
- Я замолк. Он подождал и двинулся дальше в глубь моего мозга – с паяльником:
- Ты из какого города приехал?
- Из Москвы.
- И у нас город называется Москва!

В восемь закрыли столовую и к грузовому лифту волоком утащили бачки с помоями. В девять заперли душевую. Я выполз в коридор глянуть ночную смену, но медсестры оказались без жоп. Я спросил. Ближайшая жопа дежурит во вторник. Вырубили телевизор и в коридоре погасили свет. Выгнали последнюю посетительницу – старуху-мать измученного педагогического вида. Плешивый, капризный сын жрал ее пенсию из промасленных кульков по двенадцать часов в сутки и задолбал персонал и соседей своей межпозвоночной грыжей, хотя все знали, что это рак. Проход к лифтам перегородили решеткой и заперли на замок. Я послал эсэмэску «Люблю тебя» на девять номеров и отключил мобильник.

Посмотрел на февральскую черноту за окном – над незримыми просторами люберецких полей орошения, обещавших весной завонять, дрожаще мерцали огоньки Жулебина или Некрасовки – и бесшумно, на ощупь опустился на стул дежурной сестры, засветил лампу шелчком, отодвинул истории болезни, мятые листы и положил ладонь на горло телефонной трубке. Пока есть свободная минутка – надо повыдергивать траву, корешки, освободить кусок земли могильного размера, прежде чем мы начнем копать. Алло!

Ираида *Цурко*: – К Нине Уманской я приходила домой. Даже не помню ее лица. Помню только: она позвала домработницу и велела посмотреть на часы и сказать, сколько времени, хотя часы стояли здесь же в комнате.

Татьяна *Литвинова*: – Уманский вернулся в Москву в начале войны с женой и единственной дочерью Ниной (родители называли ее Тита), шестнадцатилетней красивой и обаятельной девушкой. Родители поместили ее в правительственную школу, где первое время,

несмотря на заграничные наряды, она чувствовала себя Золушкой. Там на фоне строгости существовавшей школьной формы девушки соревновались чулками, кружевными воротниками, браслетами. Нине, которая воспитывалась в демократических школьных традициях США, было непросто.

Артем *Хмельницкий*: – Нина зашла в класс. Дочка Молотова Светка ее знала – они расцеловались. Красавиц в классе хватало, но Уманская всем отличалась от наших: по-другому одета, по-другому ходит, другая прическа, носила не сапоги, а туфли на толстой подошве да еще нейлоновые чулки – мы вообще не могли понять, что у нее на ногах такое!

Неустановленное лицо, женщина: – Нина пришла не с начала учебного года. Блондинка, подкрашивала волосы, что было в ту пору чем-то сверхъестественным. И ужасно кривые ноги, колесо. Теперь-то я понимаю, такие ноги надо прятать. Очень красивая. Фотографии не могут передать ее красоту. Когда я вспоминаю своих сверстниц, горько думать: очень немногих можно было назвать хорошенькими... Смотрю на своих студенток и – все наоборот. А мы были такие неухоженные. Примитивная косметика. Бедная у многих одежда. Нина, конечно, очень выделялась.

Александр *Аллилуев*: – Была похожа на Дину Дурбин. Держалась как-то особняком...

Юлия *Барышенкова*: – Нина держалась очень просто и стала предметом общего обожания. Угощала своим завтраком, разламывала на всех плитку шоколада.

Татьяна *Куйбышева*: – перезвоните через неделю, я немного приболела... Вы позвонили... Да, но вы знаете, я так много рассказала вам в прошлый раз – мне нечего добавить! Ничего не рассказала? А я ничего и не знаю! Приходила Нина к моей сестре в день смерти? Приходила. И все. (*Почему вы думаете, что это был именно день смерти?*) Потом случилась трагедия. Я не знаю, о чем они говорили, я в другой комнате была, у меня был маленький ребенок. Сестра упрашивала ее: не ходи, посиди, Нина отвечала – нет, мне надо. Это было утром. Больше не о чем говорить. Прошло шестьдесят лет. (*Как вы проводили свободное время?*) Я ничего не знаю. (*Как одевались ваши сверстницы?*) Не могу сказать. (*С кем вы дружили?*) Я не помню. Я этого не знаю. Ничего не знаю! Вы задали мне так много вопросов, а ко мне сейчас придет врач. До свиданья!

Татьяна *Гнедина* (дочь диссидента Евгения Гнедина, он сменил Уманского в отделе печати народного комиссариата иностранных дел при Литвинове и после опалы наркома отсидел свое. Мемуары Гнедина вышли с предисловием академика Сахарова, краткое содержание: меня сильно били, и я все подписал): – Я знала историю о смерти от несчастной любви. И еще помнила, словно в тумане, удивительную девочку Агнес, совершенно невероятной артистической выправки, изысканную – и вот ее мама ведет нас ранним утром шестьдесят пять лет назад в дорогой, невероятно изысканный универмаг на Ляйпцигштрассе, туда, где жены дипломатов покупают шелковое белье, швейцар открывает перед нами двери, и Таня, обыкновенная советская девочка, теряется, а Агнес (боже мой, так вы говорите, она была младше меня на четыре года? Ей было шесть лет?!) с необыкновенным артистизмом проходит вперед, невозмутимо. Она генетически отличалась от окружающих. У нее были изысканные длинные волосы, а советских детей стригли коротко. Это воспоминание оказалось настолько нужным мне, что я хранила его столько лет, вы назвали имя, и эта вазочка сразу треснула в моих руках – Нина, возраст, смерть. Теперь мне понятно, такую девочку именно так и могли полюбить – до смерти. (*Кто еще жив, кто помнит Уманского, его дочь и обстоятельства смерти Нины?*) Обратитесь к Павлу Евгеньевичу Рубину, сыну нашего посла в Бельгии. Он очень светский человек. Вам мог бы помочь биограф Литвинова Шейнис, но он умер. Книгу свою подарил мне с трогательной надписью, но перед смертью я разорвала с ним отношения, да. Семья Литвиновых? Я разорвала с ними отношения. Максим Максимович никогда не делал поползновений помочь папе, а вот Эренбург, напротив, прислал отцу в лагерь в Казахстан трубку и галстук.

Есть еще дочка Штейна, посла в Италии, Инна. Но я разорвала с ней отношения. Я всегда рву отношения, да.

Рубинина Павла мы установили спустя восемь месяцев – в октябре. Сын императорского посла отсиел сильные годы в референтах физика Петра Капицы и теперь угасал хранителем его дома-музея, спал в гробу.

Я обогнул оштукатуренный желтым и белым, как и все ученые учреждения на улице Косыгина, институт физических проблем, и дорожка, наименованная естественнонаучными первыми встречаемыми «под сорок пять градусов»: мимо зарослей и скелетов лавок вывела к двухэтажному особняку Капицы над высыхающим прудом. Дом разглядывал меня сквозь косматый плющ, как снайпер из стога сена, как русалка, всплывшая из-под мостков. Я поднялся по ступеням, заваленным кленовыми листьями, и прислушался – все тихо, клиент один.

Я показался любознательным и, сдерживая рвоту, принял две столовых ложки экскурсионной микстуры. Вот записи Капицы на столе, его очки. Коллекция колокольчиков. Медаль нобелевского лауреата. Медвежья шкура – с молодости Капица любил работать, лежа на шкуре. После процедур мы присели в гостиной и отдали должное организаторскому гению маршала Лаврентия Берии. Капица маршала ненавидел, но, как и все отцы русской А-бомбы, к умению члена Государственного комитета обороны, расстрелянного как английского шпиона, выстроить БОЛЬШОЕ ДЕЛО относился с почтением.

Я прибавил температуры. Почуввав теплый ветер по ногам, Рубинин (что-то седое, зачесанное наверх и неожиданно долговязое) высыпал из урны отца – вот, сын еврейского купца варшавского происхождения, выпускник Сорбонны вступает в партию большевиков; переговоры Страны Советов, бухарский эмир, Кабул, Копенгаген, Анкара, Рим, какие-то таблички на дверях я пропустил; когда император взялся чистить ряды, нарком Литвинов четыре года не вызывал Рубинина домой, чтобы спасти; я знал: все это не имеет значения, сын посла, как часовой, хочет говорить только про охраняемый объект, только про посмертно преданную мать, про сопротивления судьбе и физиологическим процессам; я перемотал вперед пленку и нашел нужное место: так получилось, что отец приехал в дом отдыха НКВД в Нижнем Новгороде, там они и познакомились, мама – дочь управляющего домом отдыха, актриса, играла в провинциальных театрах... Когда отца после отставки Литвинова отозвали и уволили, маме пришлось много работать – она вышивала гербы и надписи на бархатных знаменах, но жили весело: вечеринки, Батурин, бас Большого театра, жена его арфистка Дулова... Я еще перемотал пленку до последнего усыхающего в тишину шепота:

– Мама погибла в эвакуации, в пожаре...

Он отстоял вахту, говорить больше нечего, отец, женившись на другой, перестал существовать, мы прощались.

– Кстати, ваша семья в тридцатые годы жила в доме НКВД в Хоромном переулке, дом два дробь шесть, на одной лестничной клетке с Константином Уманским... Что вы можете сказать про этого человека?

– Был такой. Но я не помню лица. Когда отца уволили, Уманский его обходил как прокаженного, так что... Отец мой молчал до смерти, но он все понимал, он еще до тюрьмы членов Политбюро называл бандитами.

Но не императора. Я подумал про девочку Нину, когда взялся за дверную ручку, чтобы поворотом ее сжечь Павла Евгеньевича до двухсот знаков в файле «Уманский-Нина», и спросил:

– А вы? Ваши сверстники?

Тень покивала с непредсказуемой горечью:

– Мы... Дети верили в советскую власть гораздо больше отцов. Нас подхватила и увлекла пропаганда, игра «Зарница», пионерские костры. А отцы молчали.

За двадцать четыре месяца мы нашли только двух семидесятилетних девочек, достоверно установленных как «подруги Нины Уманской». Первая – дочь начальника лечебно-санитарного управления Кремля, ни о чем не тоскуя, сидела бумажной букашкой в приемном отделении шестьдесят седьмой горбольницы на улице Саляма Адиля. При вскрытии черепа «душа класса» вспомнила лишь про разбитые ею сердца: сыновья члена Государственного комитета обороны Микояна, летчики (*они кружили над дачей отца, едва не сбивая крыльями верхушки сосен*), приемный сын императора Сергеев Артем (*проступает зима, закрытый каток для аристократов по адресу: Петровка, 38; каждый год 8 ноября, в день ее рождения, генерал Сергеев поздравлял из любых точек земного шара, где воевал и служил*)... когда я опаздывала в школу, водитель включал сирену... на свидание к папе из Куйбышева, куда эвакуировали нашу школу, меня доставляли на самолете.

При допросе с пристрастием призналась, что Сталин не производил на нее «кровавого впечатления», и вдруг попыталась ответом на непрозвучавший вопрос угадать мой *главный интерес*:

– Мы просто хорошо жили...

– Выпьем кофе?

Ухоженная, крашенная в черное женщина. Быстрая речь с заметной запинкой, когда точным английским словам приходилось, уважая происхождение собеседника, подбирать русские пары, страдавшие приблизительностью, – в эти мгновения она взмахивала руками, и проницательный гость угадывал иноязычное детство, прячущееся за дипломом преподавателя английского языка. По телефону я обещал Эре Павловне разговор только про одноклассницу – дочери резидента советской разведки, известного в США как начальник сельскохозяйственного отдела советского павильона Всемирной выставки «П. П. Кларин», он же «Лука», хотелось заранее определить, куда будут долетать осветительные ракеты. Я глотком осушил кофейную чашку, Эра Павловна ожидала ученика в свою квартиру на Фрунзенской набережной. Ей нельзя было дать больше пятидесяти пяти, я думал: вот так бы выглядела Нина, если бы ей не выстрелили в голову.

– Уманский выглядел образцовым дипломатом – воспитан, эрудирован, элегантен, такие волнистые, красивые волосы. Раиса Михайловна Уманская была некрасива, но хорошо сложена. Самой некрасивой из жен советских дипломатов оказалась англичанка «мадам Литвинова» – просто лошадиное лицо, прямо мастодонт – крупная, высокая, плохо говорила по-русски.

Жили Уманские в посольстве, повариха-негритянка говорила «пирожки» с ударением на «о». Будущего министра Громыко я помню худым и черноволосым, жена его, Лидия Дмитриевна, небольшого роста, происхождения вроде из Рязани, смазливая, но совершенно необразованная, наши дипломаты хватались за головы, когда ей надо было давать интервью. Маме приходилось заучивать с ней ответы на ожидаемые вопросы. Журналисты спросили, велика ли их квартира, Лидия Дмитриевна ответила: в одной комнате едим, в другой спим.

Познакомились с Ниной и подружились в пионерском лагере для советских дипломатов – жили в одной комнате. Она рано оформилась, хорошая фигура, заплетала две русые косы.

Мама говорила: смотрите и запоминайте, самое большое богатство – это впечатления, на это денег не жалели.

Не сидели на макаронах, как некоторые! Не скупали серебро. Из богатств вывезли только пианино «Стейнвейн». Мы с Ниной любили бродвейские театры, большой теннис и крикет, катались на роликах в Центральном парке, очень увлекались комиксами про супермена.

Мы знали, что на Родине голод, продовольственные карточки, но очень скучали и рвались домой.

А потом они уехали, и мы не переписывались...

– Как вы узнали, что Нина погибла?

– Сначала я узнала о назначении Константина Александровича в Мексику и страшно обрадовалась – теперь-то увидимся! А следом эта страшная весть... О смерти на почве романтической и юношеской любви. Отца как раз перевели в Мехико-сити, и мы с мамой, возвращаясь в Москву, заехали его навестить. Раиса Михайловна приехала в ужасном состоянии, ее везли практически без сознания, на снотворных... Бесконечно повторяла: я приехала сюда только потому, что я жена посла и должна выполнить свой долг. Когда я вернусь в Союз, я жить не буду! Разбор вещей Нины стал для нее страшной пыткой. Родители решили не пускать меня на глаза несчастной матери, чтобы не напоминать об утрате – мы с Ниной немного похожи. Я единственный раз вышла на люди, когда в посольстве показывали фильм «Великий диктатор», и я знала, что Раисы Михайловны нет в зале. Но, оказалось, она, когда уже погасили свет, пришла и заняла место прямо за мной. И в середине фильма я сказала: «Как же Полетт Годар похожа на Нину!»

Раиса Михайловна молча встала и вышла из зала.

Насовывая черные кроссовки, подразбитые футболом, я спросил единственное, что меня слегка волновало:

– Говорят, в Москве Нина выглядела... так... Немного... высокомерной.

Эра Павловна отбила мячик без паузы:

– Это, наверное, так выглядело отчуждение от множества незнакомых людей. И неведомых обстоятельств.

Свидетели по существу

Беда, если не дотерпят до весны мои зимние ботинки. Я рассматривал их в метро. Обувь рабочего, строителя – соляные разводы, ветхие шнурки, вмятины и потертые шишки. Уже не оставишь в богатой прихожей. На левом присохла грязь березовым листиком. Сколько ни сковыриваешь, ни трешь о сугроб – появляется заново, и опять на левом.

Я подсчитал дни до весны. Я помечтал о рабочем кабинете с просторной приемной – секретарь по утрам приносит жасминовый чай «Выбор невесты» из чайного бутика на Гоголевском бульваре и отрывает лист в календаре «До весны осталось...». Надо смотреть вперед! Но там, впереди, нет оживших фотографий одного мальчика и его незабываемого мира, нет «белого налива», ледяной чистой воды, и девушек, и поцелуев в подъезде, и молодых родителей. Там. Там... Я вылез из радиальной «Октябрьской» и побежал за троллейбусом, и протиснулся поближе к кабине: один билет – и проверил себя: суббота?

Судя по тому, что «Народный музей „Дом на набережной“» открывался для посещения лишь дважды в неделю – в субботу и среду на два часа, – почти несуществующая частная жизнь вождей русской революции больше никого не интересовала. Лишь две жирные аспирантки, бесполое и англичанистые, молча и мрачно похоронными шажками переступали по трем большим комнатам, схватившись друг за дружку, – под музей отдали квартиру на первом этаже. Они оробело рассматривали предметы повседневного быта знатных людей русского племени, образцы одежды и кухонной утвари времен сталинской тирании, но всюду им почему-то мерещилась кровь, почерневшие, неотстирываемые брызги.

Я, не отвлекаясь на коврики, сабли и фарфор, прошел на бывшую кухню, где над картотеками жильцов кружили, каркали и поклевывали друг друга четыре музейные старухи.

– Извините, я хочу посмотреть все, что у вас есть по семье Константина Уманского.

Они смолкли и с усталой враждебностью слетелись вокруг меня.

– У нас вход бесплатный. Но принято что-нибудь покупать.

Я отсчитал мелочь и приобрел ч/б брошюру «Константин Уманский 1902–1945. Серия „Они жили в этом доме“», на одной скрепке, восемь страниц формата сигаретной пачки с двумя фактическими ошибками в тексте.

– Зачем вам Уманский? Почему, например, не наши отцы?

Я коротко соврал про многотиражку института Латинской Америки, юбилейный номер, меня послали, я должен, кто, как не вы, – старухи пихнули вперед дежурную в красной безрукавке, и та пустилась пересказывать мемуары Эренбурга с чудовищными наростами к застрявшим в памяти крупянам, ежеминутно принуждая меня записывать.

Старухи не привыкли рассказывать, они показывали себя, им казалось более чем достаточно *представиться* с особым ударением на отчество и фамилию и своим наличием подтвердить: да, то великое происходило здесь. Они собирались два раза в неделю охранять свое золотое детство, память старых большевиков, людей на общей фотографии с Лениным, называя их «папа» и «мама», хранили время императора, упавшее в цене, и я смешил их своими картой, компасом, лопаткой. Где хранятся настоящие сокровища, знали только они, как знали и то, что эти сокровища никому не нужны, они надеялись – «пока». Спорить не о чем, секта не нуждалась в пополнении: мой дед колхозный плотник, а не нарком, я не жил в этом доме – и ни на что не имею права.

– Спасибо большое, – я дал волю легкому потрясению. – Такая судьба... Вы удивительно рассказываете. Сразу все оживает. Как все это вы только помните...

– Ничего удивительного, – в песчаный голос, несмотря на довольный смешок, не капнуло влаги. – Мы здесь жили.

– Да-а... А как умерла его дочь?

– Я ж вам сказала! Чем слушали?! На почве безответной любви.

Ах, да, да, я закрыл блокнот, готовясь поискать опоры в болотистой земле, и щелчком привел авторучку в нерабочее положение, расслабив пару мускулов на старушечьих масках:

– Ох, нашему поколению трудно разобраться... Столько домислов, очернительства. Если бы не подвижники, как вы... Такого наговорят: то мальчик ее убил и сам жив остался, то их кто-то обоих убил... А прошло столько лет.

– Это вам Хмельницкий рассказал? – ядовито усмехнулась старуха поглавней. – Есть такая фотография – Ленин стоит с делегатами съезда, а рядом человек с перевязанной головой – это его отец. И сам Хмельницкий дурак такой же! Что двух лейтенантов охраны Кремля расстреляли по этому делу – говорил? Все врет! Елизавета Петровна, дайте ему.

– И что взрослый какой-то в школу приходил, ребят подговаривал и энкаведэи его искали потом и не нашли... – бубнила Елизавета Петровна. – А то, что было, жильцы наши написали, – и шлепнула на стол папку краеведческих вырезок.

Я оглох – свидетели по существу на русской земле только в бумагах, в жизни их нет. Я потрогал, погладил буквы, и кровь стукнула в мои пальцы.

СЦЕНА НА МОСТУ – 1 (житель дома):

«В тот (на самом деле – на следующий) весенний (летний) день Нина должна была улететь в США» (в Мексику).

«Нина посмеялась над этой просьбой (остаться) и, помахав ему на прощанье, стала спускаться по лестнице. И тогда Володя достал из кармана пистолет и выстрелил сначала в Нину, затем себе в висок... Володя умер в больнице на следующий день».

СЦЕНА НА МОСТУ – 2 (житель дома):

«– Ты останешься со мной.

– Дурак ты, дурак!

– Я тебя не пушу!»

СЦЕНА НА МОСТУ – 3 (житель дома):

«В старших классах между ними возникла трепетная, стыдливая, поглотившая их целиком любовь. Когда отец получил назначение в Мексику, Нина сказала об этом Володе.

– И ты уедешь? – еле вымолвил он, не представляя себе предстоящей разлуки.

Два дня (между назначением и отъездом прошло не меньше полутора месяцев) юноша уговаривал Нину остаться, но та была непреклонна. Накануне отъезда Володя позвонил ей и предложил встретиться на Большом Каменном мосту – месте их обычных встреч (трудно поверить, влюбленные любят скверы и безлюдные переулки), обе семьи жили неподалеку, в знаменитом доме на набережной (неправда, Шахурины жили на улице Грановского, теперь Романов переулок).

– Мы должны бежать, – говорил Володя. – Я все обдумал, поедem на Урал или в Сибирь, буду работать на военном заводе...

– Ни в какую Сибирь я не поеду, – заявила Нина. – Это бред, завтра я лечу с родителями в Мексику, – и отвернулась (авторы в меру фантазии пытаются объяснить, почему Шахурин выстрелил в затылок).

И тут он выхватил из кармана трофейный „вальтер“ и нажал на курок. Грохнул выстрел, Нина упала. Следующую пулю он тут же пустил в себя...»

СЦЕНА НА МОСТУ – 4 (литератор, житель дома):

«О предстоящем убийстве многие догадывались (почему?). Володя слыл мальчиком безотлагательным, способным на любые крайние поступки» (придуманно спустя лет сорок, чтобы

добавить психологической тонкости. Что еще можно присочинить задним числом про четырнадцатилетнего мальчика, разворотившего череп однокласснице?!).

СЦЕНА НА МОСТУ – 5 (литератор, антисталинист):

«Не говоря ни слова, Володя начал судорожно расстегивать вельветовую куртку. От рывка верхняя пуговица отлетела в сторону. Распахнув полу, он вырвал из внутреннего кармана цеплявшийся за швы пистолет, блеснувший на солнце вороненой сталью дула.

– Смотри – это „вальтер“! Он заряжен. Патрон в стволе. Если не согласишься остаться, будет плохо... прямо сейчас.

– Сумасшедший!!! Идиот! Что ты рвешь мне душу!? Прекрати паясничать!

– Будешь так говорить – убью!..

– Попробуй... если можешь.

– Стой, кому говорю!! – жестко окликнул парень, увидев, что девушка повернулась к нему спиной и снова двинулась вниз.

Услышав окрик, она обернулась, и в этот момент раздался выстрел. В красном (*цвет писарчук выбирал с умыслом*) пиджачке, чуть ниже левой, уже успевшей сформироваться груди (*самое время обратить внимание на это*) взорвалась аккуратная дырочка, мгновенно окрасившаяся в бордовый, почти до черноты, цвет. Девушка еще успела удивленно взглянуть на дымок из дула и рухнула на ступеньки.

Сделав несколько резких шагов вниз по лестнице, подросток опустился перед ней на колени и пристально взглянул в открытые и уже безжизненные глаза.

– Нина! Ниночка! – он выронил из рук оружие, наклонился к ней, ухватил за плечи и затряс».

«Выронил из рук оружие... и затряс»... Я немного подумал еще про все эти блевотные взрывающиеся бордовые дырочки на красных пиджачках и дымки из блестящего вороненой сталью дула...

– Когда их нашли, пистолет мальчик держал в руке?

Спустя несколько мгновений я понял, что не услышал ответа, и слишком поздно поднял глаза – старухи успели переглянуться, мне показалось, что этот вопрос неприятен, недопустим, и я сам тотчас стал им неприятен, словно упомянул о близкой смерти, внучке-алкоголичке и ночном недержании мочи.

– А кто-нибудь своими глазами видел, как все это происходило?

Я уже не существовал. Закипал чайник, осталось печенье? – старухи отворачивались от погон, проступивших на моих плечах, от скрипа протокольного пера, и даже универсальное средство поощрения межчеловеческого общения – сто долларов США – не показали бы здесь своей животворящей силы.

Я потянулся за курткой:

– А где похоронены дети?

– Шахурин на Новодевичьем. Нина... Кажется, тоже? Елизавета Петровна!

– Так Уманский урну с Ниной прямо из крематория в аэропорт повез, она с ними и разбилась, когда летели в Мексику... Над Атлантическим океаном.

– Да что вы говорите, он через два года разбился! Когда в Коста-Рику летел...

– Ой, да я не знаю тогда. Не поймешь, что спрашивают, одно, другое...

– А Барышенкова и Галка Лозовская говорили, что Шахурина мать, Софья Мироновна, урну с Ниной к Володе в могилу захоронила...

Я совершил прощальный облет экспозиции: от примуса до чучела орла – одна из старух плелась за мной с необходимыми пояснениями, бульдозером сгребая меня на выход.

– А вот это? – указал я на высокую помоечную тумбочку.

– Радиола. Уманский, кстати, из Америки привез.

И выдавила за порог. Я вздохнул: до свиданья.

Старуха – вот мы и одни – без всяких пауз, глядя мне в кадык, сообщила заключительные сведения:

– Хмельницкий всем говорит, что Константин Александрович привез сорок радиол и раздал нашим генералам. А вы ему не верьте. Я ничего не боюсь. Я прошла всю войну. Их убили. Просто сумели отвертеться, – и захлопнула дверь.

Я парализованно постоял и вдруг замерз, быстро выбрался из подъезда, аркой вышел на улицу и, вздрагивая от холода, сквозь метель и февральский безнадежный мрак побрел по Большому Каменному мосту до метро «Боровицкая». Только раз оглянулся на бывший Дом правительства, улица Серафимовича, 2, над которым огненным колесом с тремя спицами крутилась реклама «Мерседеса», но даже взгляда не бросил на лестницу, где Шахурин расстался с Уманской. Старуха могла сойти с ума, старуха – это не свидетель по существу, это неприятные мелочи.

Худшее, что с нами могло произойти, если у этого самоубийцы Ромео не нашли в руке пистолета.

И я на несколько вздохов забыл, что лечу навстречу неизбежной смерти. И поспешил по затоптанному снежному днищу подсвеченной рекламой тьмы.

Первая игуменья Новодевичьего монастыря Елена Девочкина похоронена в землю рядом с двумя своими келейницами. Когда на колокольне бьет полночь, камень, накрывающий могилы, сваливается набок и женщины встают из гробов. Посмотрев в сторону дома, тепла родной подушки, на келью, давно невидимую обыкновенному глазу, мертвые кланяются четырем сторонам света, поднимаются на монастырскую стену и ходят по ней некоторое время, словно охрана. Девочкина выделяется золотым нагрудным крестом – он блестит, и мантия ее длиннее, чем у келейниц.

Это происходит именно светлыми ночами, но все-таки не каждую светлую ночь. Я уверен, монахини выходили из могил чаще, когда в Москве еще не было трех миллионов автомобилей, жители не встречали на картофельных полях сгусткообразных пришельцев с красных планет и не фотографировали с балконов огненные шары,двигающиеся по странной угловатой траектории со скоростью, в восемь раз превышающей звуковую, когда гвозди «чакры», «мантры», «клонирование» и «одновременно достигаемый мультиоргазм» еще не прибили людей к нашему времени, как бабочек и жуков в сувенирные коробочки.

Почва, глина Новодевичьего (назовем так условно, для выразительности; строго говоря, советское, «новое» кладбище засеяли на месте прудов, примыкающих к южной стене снаружи, вне монастыря) – подходящее место для пепла красавицы Уманской. Что еще Новодевичий монастырь, как не история разных девушек, вернее – конец их телесных историй.

Если взглянуть поверхностно, монастырь схож биографией с Большим Каменным мостом – совпадают дни рождения и расцвет при царевне Софье. Два века в Новодевичий селили вдовых цариц и невезучих царевен, сама Софья не увернулась и догорала здесь. Петр I, подозревая сестру в рассылке крамольных писем, повесил мятежных стрельцов на зубья монастырской стены напротив ее окон у Надпрудной башни – два раза по двести человек, – чтобы царевна крепко задумалась о продолжении почтовых романов.

В правление Ленина и императора в монастыре открыли «музей раскрепощения женщины», и могилы трех тысяч граждан, заслуживших похороны в монастырской ограде, распахали, не тронув сотню идеологически близких или безвредных; все остальные, как пишут в рифму и напевают самодетельные поэты, пенсионеры-коммунисты, стали травой, росой и межзвездной пылью напрямую, без промежуточных лживых остановок.

Иконы монастыря, и в особенности фрески Смоленского собора, как указано в путеводителе, «утверждают тему „Москва – третий Рим, а четвертому не бывать“», – средневековая теория, смысл которой мне неизвестен.

Смотрящий

Не люблю кладбища, старые, новые, никакие – лазить среди оград...

У ворот каменного города у южной стены Новодевичьего меня ожидала торговля пластмассовыми цветами, пьяный самодеятельный экскурсовод маршрута «фигуристы-хоккеисты», два хохла с соломенными чубчиками, жалевшие двадцатку на схему.

– Браток, где могила Хрущева?

И за воротами – двадцать семь тысяч захоронений.

Я купил карту с мелкими, как на тюремной записке, буквами – моих клиентов среди двухсот востребованных публикой могил не оказалось. Я заслонил кассирше белый свет и улыбнулся омерзительно даже для самого себя.

Кассирша достала из сейфа толстую книгу в бережливой газетной обертке.

– Це, че, шэ, Ша... Шахурины, так – первый участок. Вам, значит, от ворот по центральной аллее... Вдоль первого партийного ряда. До аллеи военных, и все, что будет до стены и назад к секции «Коминтерн» – все ваше. Походите, самому можно найти. Знаете хоть, урной или трупом? Вы родственник? – Она подождала, что я уберусь, и вздохнула, готовясь послать куда подальше пьяного идиота.

– Я могу у вас еще что-нибудь купить. Вот эту книгу могу. Мне не нужны могилы. Мне нужен человек, который знает все.

На куске бумаги, выброшенном из окошка, под телефонным номером она написала «Кипнис»:

– Вот все у него и купите.

Обмен прошел беззвучно, сопровождаясь лишь жестами и переменами в выражении глаз. Соломону Кипнису нравилось, что я быстро достал деньги и не спрашивал, почему за книгу о захоронениях такая цена. Тихий, лысоватый, скорбно-степенный исследователь Новодевичьего кладбища удовлетворенно кивнул мне в прихожей хрущевки в Сокольниках и замер: он вдруг понял, что этим не кончится. Хотя я не походил на неприятность.

– Вы... что-то?..

– Нужна ваша консультация.

– Пройдите.

Я прервал землеройную работу – на столе Кипниса в комнатке (шахтном забое, келье) лежала развернутой газета «Завтра». Я бросил взгляд на первую полосу – там поместили одну из Главных фотографий. После приема в честь Победы император (единственный светлый мундир среди темной молодой широкогрудой массы, усыпанной орденой чешуей) сфотографировался со своими победоносными маршалами, генералами, адмиралами – ряды страшной, завораживающей силы, теперь трудно поверить в ее существование.

– Потрясающе! Потрясающе! – повторял Кипнис, вслед за мной глянув на газету.

Под фотографией редакция поместила подпись «Наш актив». Я перевел глаза на вязаные носки Соломона Ефимовича, подшитые кожей, и не знал, что сказать. «Завтра» последовательно раскатывала «еврейский вопрос», колеблясь от геополитических высот до страстей коммунальной кухни.

– Потрясающая... концентрация людей, лежащих на Новодевичьем, вот это фото. Готовлю переиздание. Название уже придумал, только не знаю, удачное или нет. «Семь гектаров советской эпохи». Мне кажется, удачное. Это мое мнение. А я с ним считаюсь. Что вы хотели узнать? Вы, кажется, сказали по телефону – родственник Константина Александровича Уманского?

– Да.

– Последние родственники Уманского умерли сорок лет назад, я занимался этим вопросом.

Я споткнулся, но не поменял масть:

– Я двоюродный племянник, – мы улыбались друг другу по-волчьи, пастью, – Дмитрий Анатольевич Камышан. Я приехал из Львова.

– А-а, да-да. Я слышал про вас, – легко обрадовался Кипнис и шевельнул кое-какие записки на столе. – Ведь это вы передали фотографии дяди в харьковский музей Холокоста? Заслуженный учитель РСФСР...

– Точно.

– Инвалид второй группы. Семьдесят пять лет. А выглядите моложе... Я только не понял: почему музей Холокоста? Вы что же, верите, что вашего дядю устранил НКВД за связи с еврейским комитетом?

Кипнис еле дождался пенсии, чтобы ничто не отвлекало от изучения «новодевичьих» могил, больше его не интересовало ничего; даже государство отшатнулось и позволило безвредному червю протиснуться к мертвым; он ничего не боялся; присев за свой стол, он смотрел на меня с безучастием профессионала или человека, живущего на покоренной вершине; он не представлял, насколько мы близко.

– Я интересуюсь ситуацией июня 1943 года. Шахурин и Уманская. У меня появились вопросы по вашей теме.

– В общих чертах я знаком с этой историей. Шахурины и Уманские похоронены на Новодевичьем. Что за вопросы?

– Девочку убили третьего июня во второй половине дня. Отец с матерью четвертого июня вылетели в Мексику. Получается, дочь они не хоронили. Кто хоронил? Где? Могла урна с прахом Нины оказаться в могиле Шахурина? Почему Нину сожгли так быстро? Вряд ли хватило времени, чтобы провести вскрытие тела по всей форме. Шахурин еще не умер, следствие только началось, а Нину уже сожгли. Зачем вообще девочку повезли в крематорий? Какая была необходимость жечь, если, конечно, Уманский не забрал урну в Мексику...

– Или если не было необходимости что-то скрыть, – скрипнул Кипнис. – Я заметил, вы рассматриваете эту историю под определенным углом.

– Некоторые люди... не верят, что на мосту все произошло так, как всем хорошо известно.

– Кто вы?

Прием у врача обязательно доходит до точки, когда врачу уже все ясно, но он продолжает: присядьте и вытяните руки вперед, нагнитесь и раздвиньте ягодицы, – следуя правилам до последнего пункта, и ты послушно продолжаешь показывать и отвечать избыточно подробно чистую правду, потому что с детства запомнил: иначе доктор не сможет помочь, а больше надеяться не на кого, – доверяешь изнанку, вываливаешь срам, откуда нам знать, что понадобится для спасения, – он сам выберет.

– У каждого события в прошлом есть смотрящий... Вот вы – смотрящий за Новодевичьим. А мы новые смотрящие по этой ситуации на мосту.

– Вы не один?

– У меня есть партнеры. Можно сказать, брат. Вернее, братья. Как бы семейный бизнес. Хотя можно сказать – я один. Еще один, – я показал на потолок, – пишет фон.

– Насколько я вас понимаю, сейчас у этих смертей имеется, как вы выражаетесь, смотрящий. Но вас по каким-то причинам это не устраивает. То есть речь идет о некотором образе смене?

– В общем, да. Да.

– И вам... И тем, кто согласится вам помогать... будут противодействовать?

– Не знаю. Как пойдет. – И я скучно добавил: – Ну, в рамках естественного течения времени.

Должен ветер ударить в окно тополиной веткой, донестись раскат грома, луч света упасть на коричневую фотографию родителей – но ничего не произошло, два мальчика на пятом этаже продолжали меняться солдатиками.

– Я вам позвоню, – сказал Кипнис.

Еще он сказал:

– Ничего удивительного нет, что ее сожгли. Время меняет способы захоронений. Сейчас на Новодевичьем три разряда: гробом в землю, подзахоронение урной в существующую могилу к близким и низший – урной в колумбарий. До революции разрядов насчитывалось семь. По первому, высшему – покойник сам правил лошадьми катафалка. Шутка. Вам не бросилось в глаза, что в стене, самой первой, там, где Дмитрий Ульянов, урнами покоятся люди, запросто заслужившие землю? Лепешинский, Ленгник, Шелгунов, Розмирович, Драбкина – старые большевики ленинского призыва. – Ничего мне эти имена не говорили. – Они что? Не могли получить землю? Легко! Но в тридцатые годы развернулась борьба за широкое распространение кремации. Покроем Советский Союз сетью колумбариев! Возникло даже ОРРИК – общество распространения крематориев для содействия крематороидному строительству. Первые членские книжки общества послали Сталину, Молотову и Калинин. И когда умирали ленинцы, они даже своей смертью хотели утверждать новые принципы жизни – без поминок и панихид, не занимая плодородной земли. Жгли тогда всех. И детей.

Он говорил о смерти как о дачной знакомой, как говорили, наверное, о ней старые большевики, стальные люди, не считавшие трагедией свое личное отсутствие в будущем, смиравшиеся, как и все, но признававшие справедливость замены поколений и устранения обузы. Я стиснул губы, чтоб не наглотаться угольной пыли, чтоб не спросить Кипниса: вы гробом в землю? или на тележке в печь? Нам недолго осталось!

– Нину могли захоронить в могилу с убийцей. Я как-то гулял с вдовой Шнитке по кладбищу. Спросил: почему вы не захотели, чтобы мужа похоронили рядом со Свиридовым? Она так поморщилась: вы знаете, он уважал Свиридова как композитора, но его монархизм... И эти... националистические взгляды! Не хочу, чтобы они рядом лежали. А я посмеялся про себя: посмотри вокруг. Мимо кого мы идем? Палачи и жертвы! Тот же Трапезников и Капица. Великий физик и заведомо науки ЦК. Когда Трапезникова двигали в члены-корреспонденты академии, Капица противился всеми силами. Они в жизни рядом не садились – ненависть! А вот умерли в один год и лежат рядом. Особо не повыбираешь... Спасибо, хоть кусочек незапятнанный нашли.

Кипнис мне позвонил через день. Шахурина Владимира, пятнадцати лет, сожгли мгновенно – 5 июня, и назавтра выдали справку о смерти для захоронения. Командующий подземными этажами империи написал на ней: «Дайте указание директору Новодевичьего кладбища отвести участок для захоронения сына Шахурина, отведите место по усмотрению Шахурина». Боец помладше подписал: «Рядом с могилой Димитрова, размером в пять метров». Размер означал, что мама-папа С. М. и А. И. Шахурины наметили лечь с сыном и выбрали приличного соседа – семилетний Митя Димитров, «сын Г. Димитрова, деятеля международного коммунистического движения и его второй жены», умер только что, и на него поставили невеселого мальчика из грязного камня: худой, белые гольфы, руки, сложенные на коленях, держат кепку, тонкие губы, сандалии, из нагрудного кармана косоворотки углом торчит платок – на Новодевичьем нет памятника страшней.

«Захоронить урну около могилы Шахурина» – завершила третья, чернорабочая рука, жутковато назвав пять метров земли могилой вполне живого, молодого, франтоватого министра авиапромышленности Советского Союза, императорского любимца.

Еще день и:

– В архиве нашлось письмо брата Уманского – Дмитрия. 29 мая 1945 года он обратился к заместителю Председателя Моссовета. «Прошу, чтобы урна с прахом Нины Уманской была захоронена там же, где захоронены ее родители. Можно было бы сделать нишу под плитой К. А. Уманского». Резолюция: «Предоставить нишу». Занятно, что Дмитрий предлагал подхоронить девочку именно к отцу. И справка прилагается о захоронении: «Уманская Нина, 14 лет. Новодевичье кладбище. 3 июня». Ее похоронили в день смерти, ровно через два года. И печать Московского крематория. Получается, ее не хоронили до смерти отца.

– Где урна стояла два года? Могла она быть в могиле Шахурина?

Кипнис равнодушно ответил:

– В документах не отражено. – Он отстрелялся, скучно с любителями. – Да... Я подумал, вам может показаться интересным... Шестнадцатого августа провести на кладбище полный день, – он заговорил вновь, но уже петляющим голосом, неуверенно засопев, словно пробирался в темноте, растопырив руки, туда, куда не следовало.

– Зачем?

– Шестнадцатого августа у Нины Уманской день рождения.

– Я не смогу. Не хочу.

– Просто я припомнил... Поспрашивал... Говорят – в день рождения кто-то приносит на ее могилу цветы. А ведь прошло шестьдесят лет...

– И что?

– Это говорит о чем-то... Я подумал, родственников нет. – Говорил словно сквозь головную боль, переживая отрыв от надежных бумаг с печатями и архивных папок. – Это может делать только тот, кто ее любил. Возможно, тот, кого вы ищете.

Шестнадцатое августа. Простудить почки, просидев на каменной плите, жрать из кулька, отливать в кустах рябины, посматривая на объект сквозь ветки, выследить согбенную спину и спросить в изрубленный морщинами загрибок, засыпанный седым пухом: так это ты ее замочил?..

Я прочел объявление (вот здесь, фактически в центре Москвы, есть свободные ниши! всего за восемьдесят долларов) и спросил у тети в кожаном пальто дорогу в крематорий. Она что-то добавила вслед, я обернулся:

– Что?

– Подайте на жизнь.

Здесь, на Донском, смерть пострашнее, чем на Новодевичьем: низкие стены, как заборы, и все – все-все-все, сколько видишь, облицовано погребальными изразцами, не найдешь и двух одинаковых, разные же люди. Даты и крохотные овальные фотографии, словно зеркальца, ты идешь, они пускают лучики тебе в глаза, пытаюсь зацепить; я кусал булку с изюмом, я почти бежал, стараясь оторваться от пустоты меж этих заборов, от просторной этой тесноты, от гущи, прошел сквозь чулан, заставленный бочками с фасадной краской, прямо к конторке, к дремлющей ненавистной твари, крашеной и бесполой, – ей должны все, а плачущие родственники покойных особенно, – она подняла морду:

– Вы на замуровку?

Презрительно обнюхала тысячу рублей, упавшую ей с неба, и достала из железного шкафа журнал учета человеческого пепла с чернильным «1943» на корешке; раскрыла «июнь».

– Я не имею права вам ничего показывать.

И поэтому я разглядывал кверху ногами худые, заваленные на бок буквы: Нину жгли 4 июня, шестой по счету из двадцати двух человек, номер 4282; крематорий работал круглые сутки, можно предположить, что девочка поехала в печь утром, через шестнадцать-восемнадцать часов после смерти, для законного оформления не хватало бумаг и на полях зацепилась пометка «врач. закл?» Шахурин Владимир – на следующий день, четырнадцатым из

тридцати, 4310, справка Краснопресненского ЗАГСа. Урна Шагурина выдана для захоронения. Урна Уманской – нет. Никакой Мексики.

– Куда деваются урны, которые не похоронили сразу?

– Стоят на выдаче праха.

– Что это? Комната такая?

– Ну, помещение.

– Сколько они стоят?

– Полгода. Если не приходят заинтересованные лица, ссыпая в братскую могилу. В овраг.

– А во время войны?

– В войну хранили по два-три года. Ссыпать начали в сорок шестом.

Когда все живые вернулись к своим мертвым. Два года... Все, что осталось от Уманской, два года стояло «на выдаче праха» среди нескольких тысяч урн – почему? Чего ждали ее родители? Собственной смерти? Участка земли? Отпуска? Мрамора для надгробия? Не важно, ее все равно нет?

Я встретил его спустя время – Кипнис шел меж могил; потеплело, и снег падал щепотками, узелками, лохмотьями, празднично и неправдоподобно – и небо не темнело при этом. Его сопровождали родственники местных покойников – мохеровые шарфы, очки в кривых оправках и кроликовые шапки. Кипнис внимательно взглянул на меня, не узнавая, но вычислив чужого, непохожего по взгляду: я как-то не так смотрел на живых.

Через три года я увидел в витрине переиздание его «Записок некрополиста» и купил, все вертел в руках, не мог понять – что такое не такое есть в этой книжке, хотя все, кажется, как было: фотография – автор широко улыбается, белая рубашка, не стесненная галстуком; посвящение «Светлой памяти Аллочки, моей незабвенной жены, посвящая эту книгу» – но что-то корябало меня. Еще раз осмотрел обложку и увидел новое.

Художник оформил обложку как могильную плиту – шурупы по углам. Под счастливой фотографией Кипниса кто-то поставил цифры 1919–2001, изменившие все. Некрополист на фото теперь улыбался так, словно наконец-то все в полном порядке, он там, где должен быть, у своих, он слился с миром, которым жил, исследования *здесь* закончены, и, с удовольствием повинаясь страсти, он продолжит копать с *той* стороны – так казалось мрази-оформителю, он не понимал, за что расправились со стариком.

Кипнис не хотел смерти, но, думаю я, кусок Новодевичьего показался бы ему уместным вознаграждением за его галерную службу, однако скоты не оценили его прикованной гребли, а проплатить тем, кто торгует невозможным, было некому.

У меня мало книг, эта все время попадалась в руки.

Я просто не знал, куда ее деть. И ночью выбросил в мусоропровод.

Бухгалтерия

Секретарша приземлила поднос на стол – жасминовый чай, попятилась до календарика «До весны осталось 16 дней» и оторвала листок – 15. Белая блузка. Потом что-нибудь придумаю с ее мордой. Еще я пью воду без газа со льдом «БонАква», «Эвиан», «Шишкин лес». Дюшес «Черноголовка». Печенье с маком, изюмом. Никакого ржання с шоферами и музыки в приемной. В кабинет заходить с блокнотом. О назначенных встречах напоминать вечером накануне. Уборщица не должна двигать солдатиков.

Она задержалась посмотреть на дядю – я небрит, я друг подушки; когда не надо спать, я сижу в мягкой коже, рассматривая оловянных бойцов, можете подойти? Серия (в трех известных на сей день вариациях), условно названная «полковые музыканты» или «оркестр», выпускалась до конца пятидесятых (я имею честь принадлежать к сторонникам более позднего происхождения – шестидесятые) – геликон, труба, ротный барабан, фанфары; так выскальзывает из рук моих день и что-то проглатывает его там, внизу, чавкающим звуком. Вам удивительны повторы? Зачем собирать по несколько экземпляров каждого оркестранта? Одинаковыми мне кажутся люди, но солдат я могу различить, помогая пальцами глазам – погладьте, открывается миллиметровая разница в росте, подбородок чуть выше вздернут ремешком каски, вдруг гимнастерка сминается в три складки под ремнем, а вот у избранного повисает на бедре небольшая прямоугольная сумка, похожая на планшет. Краска, лак, узкая или широкая подставка – в производстве военной игрушки не соблюдалось единого верховного порядка, и это превращает коллекционирование солдатиков в бесконечное занятие, вот что ценю. Оборонные «почтовые ящики» Империи отливали солдат в подсобках по собственному разумению, и никогда не узнать, кто, почему и когда решил насечь узор на боку барабана, а кто распорядился срубить погоны с плеч трубача, подсократить шаг и подрезать голенища у сапог, улучшая образец, относимый к началу тридцатых, – те, старшие, отличаются весом...

Закончил шептать и занялся чаем; дерьмо, конечно, но – жасмин, красивое название! Секретарша, предположив, что завод кончился и игрушка больше не зажужжит, осторожно сказала:

– К вам кассир. Из бухгалтерии. Можно ей зайти?

– Александр Васильевич, есть время подписать? Доверенность в банк, счета за аренду...

Александр Васильич!!!

Я схватил обтянутую тканью тушу и завалил на себя – занавесом поползла кофта, открывая бледную пузатую кожу с синевато-желтыми синяками и росчерком аппендицитного шрама, качнулись жировые слои на боках; я расцепил бюстгальтерные многорядные когти и отлепил, словно присохшие, плотные кружевные чашки, выпуская груди, поползшие вниз; туша свалилась на колени под тяжестью моих направляющих рук (Хоть бы сказал что-нибудь, – повторяла она, выманивая ласку. – Ничего не сказал!); я сел поудобней и бессмысленно перебирал редкие пряди на загривке, переселившись в ее пальцы – трогающие, сдвигающие, ощупывающие, держащие.

...Отвернувшись друг от друга, мы заправлялись и застегивались, остывая. Сквозь отчетливо бездонное омерзение я совестливо прошептал кассирше, выпроваживая:

– Оль, у тебя такие глаза красивые.

– У вас вон тоже... Такой большой и хороший.

Я таптывал в ковровин сопливые лужицы и позорно вздрогнул от настигшего шороха – Алена, в длинной тонкошкурой шубе черного цвета, нависла над столом, едва не смахнув рукавом полковых музыкантов, и рассматривала меня из болезненного далека, как рожающую в овражных лопухах собаку, – скулящие, уродливые, одинокие усилия на жалкой подстилке. Она не раздевалась, словно раздумывая, а не уйти ли ей прямо сейчас куда угодно, лишь бы

отсюда, покачивалась на высоких каблуках, тонких, как рюмочные ножки, на носках сапог блестяли какие-то стальные острые хреновины. Жирные малиновые губы, на наращенных ногтях по серебристо-розовому полю змеились цветочки, фиалки, маргаритки, лилии...

– У тебя зрачки расширены. Как у наркомана.

Она так дышала, словно в кабинете подванивало. Я протянул вихляющуюся руку к телефону.

– Не надо убивать секретаря, – сказала Алена. – Девочка сегодня первый день. Она пока не знает, что часто происходит в этом кабинете. И что даже любимых женщин нельзя запускать без звонка. Что у нас нового?

– Из живых остался только Дашкевич... Что ты принесла?

Алена выпустила из рук бумажный лист:

– А это то, что *мне* удалось узнать за последнее время. Почитай.

«Ты совсем меня не видишь, течешь дальше. Но жить без тебя – все равно что потерять линию жизни на ладони. Я не знаю, как я жила без тебя. Просто я люблю тебя так, что не передать».

Я постеснялся сгибать, рвать и выбрасывать листок. Делал вид, что в упоении перечитываю, соображая («Алена...», «Я не достоин такого, Алена...», «Мне нечего тебе дать...» – все, что говорится перед тем, как трахнуть и уволить), неужели придется подниматься из кресла и, глядя мимо, преодолевать три скучных шаркающих шага до пресного поцелуя.

– Так вот, последний, кто знал Уманского... В журнале «Иностранная литература» кем-то служит старик Юрий Дашкевич.

– Ты опять не веришь в себя. Зачем нам еще кого-то искать? Что тебя тревожит?

Я знал, что чувствую, но не мог ответить правдиво:

– Понимаешь... Холеный, успешный. Любовницы. Ценитель искусств. Императорский посол. Чудесно красивая дочь. Девочку убивает сын наркома, и несчастный отец разбивается... И вот такого – никто не заметил.

– И что это значит?

– Либо наш клиент холодная и расчетливая тварь. И не остался хоронить дочь... И за два года до гибели никому не рассказал, как ее убили... Либо он из наших, и душа его хранилась на Лубянке. И когда мы его возьмем, ничего не скажет. Ему просто вырезали язык, и он жил по-другому.

– Тогда давайте разрабатывать семью мальчика. Ты установил наблюдение за Шахуриным?

– Старику Дашкевичу я звонил трижды. Мне показалось, его испугали мои звонки. Первый раз он подозрительно расспрашивал меня, кто именно решил вспомнить Уманского. Второй раз сказал: приболел, звоните через месяц. Третий раз велел больше не звонить. Хотя я даже не успел сказать, что меня интересует Нина. Чего он боится?

И у нас нет ни одного свидетеля, видевшего влюбленных мертвыми на мосту.

Шахурин: результаты наружного наблюдения

Тогда они еще не знали, что старик Дашкевич стал бы промахом, жестокой ошибкой, провалом, если бы их действительно интересовало что-то по-настоящему, кроме Большого Каменного моста.

Все заместители знаменитого наркома авиапромышленности давно гнили в земле, дышал один – генерал-полковник Александр Николаевич Пономарев. Найдите его, посоветовал летчик-историк Мейзох, не знаю, правда, где он, я как-то выпустил его из виду. Через два месяца (Tuesday, april 09, 3:02:49 PM) в одной из квартир США прозвенел, провыл сигнал телефонного вызова, и я соврал ответившей женщине, кто я, и сказал правду, что мне нужно.

«Ты с Шахуриным знаком? – весело кричала женщина, фоном громыл американский телевизор и лаяла собака; женщина рассмеялась видимой ей картине, и мне в трубку: – Ему через две недели девяносто один. Я-то моложе на шестнадцать с половиной лет. К нему дочь в комнату заходит, а он спрашивает: кто это пришел? Сейчас, попробуйте сами. – И снова: – С Шахуриным? Знаком? Восемь раз уже спросила... Попробуйте вы».

Я услышал слабоумный, подушечный голос, похожий на удивленный взгляд в телефонную трубку, и тупо сказал над Тихим или Атлантическим: «Шахурин». Там просипело: «Я о нем помню». «Что помните?» – «Давно было». Впряглась другая женщина: «ЧТО? ТЫ? ПОМНИШЬ О НЕМ?!» «О ком?» – «Папа! О ШАХУРИНЕ!» – «Я о Шахурине помню. Ну, был». Она покричала еще и устало отчиталась: «Говорит, министром был. Попал под какое-то следствие и погиб». Вдруг я услышал, как генерал-полковник внятно произнес: «Когда мы будем обедать?», она вскрикнула: «Папуль, на телевизор не нажимай!», – и я отключил телефон.

Понятно, я не первым зашел в пирамиду императорского слуги, ребята, работающие против нас, все успевают подчистить. Я ради приличия оглядел забетонированный пол и потрогал кирпичные стены.

Музей академии имени Жуковского: две статьи про наркома в многотиражной газете; вот совпадение – человек, знавший Шахурина шестьдесят лет, умер за две недели до вашего звонка.

Музей авиации и космонавтики: ничего нет. Только модель спутника, что Алексей Иванович подарил.

Комитет ветеранов войны: нет, никто его не помнит, неделю искали.

Ветеранская организация завода «Манометр»: секретарь партийной организации, работавший в юности с Шахуриным, умер полгода назад.

– Документы свои предъявите, пожалуйста.

Вышла дряхлеющая баба с двумя бородавками на щеке и отправилась искать ключи от хранилища, а я остался на лестничной клетке и смотрел сквозь заоконную решетку на мокрый, недолгий осенний снег, уже пробитый шагами, – там прыгали вороны и бегали белая и рыжая собаки. Я давно заметил, что сквозь решетку мир становится большим, равнодушным и прекрасным. И даже не притягивает, настолько недостижим – просто наслаждаешься непричастно, как долетевшим запахом далекого осеннего костра, девичьим смехом в соседнем купе, игрой пацанов на футбольном поле.

После лязгающих отпираний сейфовых дверей мне принесли, словно наследнику, все, что осталось от наркома Шахурина.

Нож, место создания – г. Златоуст; техника – позолота, гравировка, чернение. Дата создания: 1944. Зажигалка бензиновая, металл, пластмасса, место создания неизвестно.

Фото в белом кителе, МСПО Арбат, 40. 1932.

Фото с надписью «Дорогим Папочке и Мамочке, сердечный привет из Евпатории. Соня». Жену наркома звали Соня. Штампик фотографа: Генрих Летичевский. Тел. Д 1-74-5. 19 6/V 37 – зелеными чернилами. Так, что там про жену, мать убийцы? Софья Мироновна. Учетная карточка члена КПСС № 00034516. Умерла в апреле 1977 года. Партдокументы погашены Ждановским РК КПСС.

Год рождения 1908, еврейка. Родной язык – русский. В комсомоле с четырнадцати лет, в партии с восемнадцати. С шестнадцати лет на ткацкой фабрике аппретурицей, размеряльщицей и настильщицей. Так, а кто она в период знакомства с Шахуриным? Студентка инженерно-технической академии – там, скорее всего, и познакомились. Потом, ух ты, директор производства в доме заключенных, швейные мастерские с перерывами на временную пенсию и болезни на полтора-два года. С начала войны не работала. Пока не погиб сын.

Да, князья тридцатых годов получали жену-еврейку с неотвратимостью положенного, как дачу, автомобиль и телефонный аппарат для связи с Кремлем, прозванный «вертушкой», – еврейки чем-то выделялись в истощенном эмиграцией женском культурном слое. Профессиональные антисемиты составили длинные таблицы родоплеменных связей императорских слуг (Бухарин, Молотов, Киров, Калинин, Рыков, Андреев, Поскребышев, Буденный, Яков Сталин и мн. др.), густо засадив их Полинами Абрамовнами, Аннами Мироновнами и Раисами Иосифовнами (урожденными Зунделевич), и перечеркали пересекающимися стрелками (евреек не хватало, и некоторые примерили не одну фамилию членов Совета Народных Комиссаров), облачая происки «мировой закулисы». Но предвоенные казни таблицу опустошили, а в войну император ввел моду на русских круглолицых и глупых домохозяек, бывших подавальщиц гарнизонных столовых и медсестер.

Что могу сказать, осмотрев тело?

Алексей Иванович Шахурин занимал комнату на четвертом этаже императорской власти, соседствуя с равновеликими «наркомами ключевых отраслей». Выше жило «партийное руководство» (пять-семь человек), еще выше маршалы народного хозяйства (не более десятка) и всех выше – «узкое руководство» (император, Молотов, Маленков, – на тот момент – и Лаврентий Берия) – порядковый номер Шахурина в Империи располагался между 25 и 50.

Уманский хорошо если замыкал третью сотню.

Сознавал ли Володя Шахурин силу своей родовитости? Но что эта сила советского мальчика, этот «серп-молот» красивой девчонке, приехавшей из Вашингтона в нейлоновых чулках?

Прошли все сроки давности, отклеились и раскрошились печати «Совершенно секретно» с пыльных картонных папок, а жизнь Шахурина, как жизнь любого императорского сокола, как была, так и осталась сочетанием абсолютной прозрачности с абсолютной непроницаемостью. Отдал душу делу коммунистической партии, строил коммунизм на земном шаре, до смерти называл императора Отцом (даже после шести лет в одиночной камере по «делу авиаторов») – выполнил свое обязательство перед Империей, обещавшей ему (как и всем, кто признавал свою мнимую вину перед расстрелом) *что-то*, по силе сравнимое с бессмертием, – обязательство отдать ей, Империи, все и лично, вне железного марша, почти не существовать.

Мне оставалось «почти» – я разровнял на столе холмик добытого песка, вывел на нем пару латинских букв и прочертил зубчатую бороздку, сразу обнаружив главное.

Нарком умер 3 июля 1975 года.

Никто не слышал, чтобы он вспоминал сына. «Про сына они не говорили. Много говорили о цветах на могиле. Там всегда море цветов».

Я со злостью влил по рыжеватой, холеной морде, по белым кителям: что так-то?! Разок бы пустил слезу! Заскучал бы о нерожденных внуках. Пробормотал бы: эх, Володька б сейчас, если бы жив... Сокрушался бы с товарищем-ветераном по пьяни: вот так и так это получилось, Иван Палыч, что ты будешь делать; и воспитывал-то я его правильно, а все одно душа не на месте, чую вину! Не уберег...

Хоть бы девочку мог пожалеть – Нина такая была, учились в одном классе, пару раз всего видел ее, красивая девчонка... Отец ее, Константин, помню, подошел на похоронах... Глаз поднять не мог на него, сам плачу стою... Ах, Вовка, Вовка... Каждую ночь перед глазами встает!

С точки зрения учительницы начальных классов Шахурин должен был вспоминать сына. Тем более если мальчика убили. Если на имя единственного сына лег напрасный позор.

Но Шахурин молчал, как все. И это молчание, с точки зрения людей правды, могло скрывать все что угодно.

Мне оставалось протереть пальцы спиртом и достать лупу, чтобы рассмотреть малозначимые подробности состояния трупных тканей.

Отец – медник из села Михайловского, дважды раненный на Первой мировой и до гроба паявший медные трубки (нарком тем временем обедал с императором в Кремле) для гидравлических систем управления самолетом.

Сын до революции пахал с двенадцати лет учеником электроинженера в конторе Заблудовского, три года молотобойцем и фрезеровщиком на заводе «Манометр» (любил петь за работой); потом райком комсомола, инженерно-экономический институт, академия Жуковского (в те времена, когда Петровским дворцом на Ленинградском проспекте, отданным авиаторам, заканчивалась Москва), авиационные заводы и вдруг первый секретарь ярославского обкома, а через год – горьковского.

«Я всегда менял Кагановичей». В горьковском обкоме сменил Юлия Моисеевича, в наркомате авиапромышленности наследовал Михаилу Моисеевичу – тот называл «мордочкой» самолетный нос, в авиации не разбирался (все это и последующее, возможно, неправда) и руководил угрозами. Император возмутился: «Какой он нарком? Что он понимает в авиации? Сколько лет живет в России, а по-русски как следует говорить не научился!» – восторг рекордных перелетов через полюс и небольших авиационных успехов начала испанской войны прошел, завиднелось могильное «мы не готовы». Сталин объявил третьему Кагановичу – Лазарю, тогда входившему в топ-25: «Твой брат связался с правыми». «Пусть судят, как полагается по закону», – шевельнулись железные губы (Нет, неправда! – хрипел в завещании столетний Лазарь, уже проржавев, – Я БОРОЛСЯ! я требовал очной ставки! все заводы построил брат, Шахурин пришел на готовое!). Отпущенный с первого допроса, Михаил Каганович, запомнившийся шумливостью и вниманием к отделке кабинета, вышел в коридор, достал пистолет и выстрелил себе в сердце. У имперской авиапромышленности появился новый нарком. В календаре январь 1940 года, если кто-то следит за датами.

Алексей Иванович, как и Уманский, как двадцать пять тысяч лучших русских того времени, отливался по одной мерке «сталинского сокола»: «Отложив все свои дела, я взял лист бумаги, карандаш, сел за письменный стол и быстро, уверенно, впервые в жизни написал „Товарищ Сталин!“». Звонит телефон, прибегает посыльный, скачет сын сторожихи на сельсоветской кобыле, ломается голос ординарца – в руке разворачивается телеграмма: вас вызывает товарищ Сталин, можете выехать немедленно? Летит самолет над дрожащими огоньками, быстро проходит железнодорожная ночь, летит мелкий щебень из-под колес автомобиля, «вся жизнь проходит перед глазами» – призванный просматривает на экране ночи: вонючая тряпка трактирного приказчика, погоняющая постреленка, зуботычина вахмистра на фронте, нищета матери, видение ЛЕНИНА, довольно скомканно и уклончиво про революционные годы (не все маршалы осмеливались признать, что встретили и проводили Октябрь и несколько следующих месяцев, а то и лет на позиции скорняка или писаря в заготконторе), подробней про учебу в гимнастерках, ступеньки рабочих мест, взлет с первой космической в 1937–1938-м... Да, трудности, но никаких убийств по две тысячи в сутки и исчезающих товарищей, просто минимум фамилий, и *вот* – утреннее спокойное лицо часового у Спасской башни, смутно, но обязательно – немолодой человек с необычно красным лицом в приемной (впоследствии оказа-

лось – товарищ Поскребышев) и глуховатый голос божества (мало кто осмеливался в описании продвинуться дальше размеров кабинета и выше края сапог: «фигура среднего роста», «серый френч», «легкий светло-серый костюм военного покроя», «полувоенная форма», «наглухо застегнутая куртка», «шаровары защитного цвета», «мягкие черные сапоги без каблуков, какие обычно носят горцы на Кавказе», – но каждый: «В его левой руке дымилась трубка»). Товарищ, как вы смотрите на то, что мы хотим вам поручить, дело очень важное и новое для вас, но... Мы вас скоро вызовем, до свиданья. Прикосновение руки.

«Ушел я от Сталина как во сне».

Никто не мог объяснить, как это происходило. «Уже наступили сумерки, когда мы покидали Кремль, – пытался сохранить рассудок югослав Милован Джилас, ненавидевший императора. – Офицер, который сопровождал нас, явно уловил наше восхищение. В это время года в Москве бывает северное сияние... Все приняло фиолетовые краски и мерцание – нереальный мир, более красивый, чем тот, в котором мы жили...»

В Москве не бывает северных сияний.

И взмывали призванные в небо – из подполковников в главные маршалы артиллерии за три года: переговоры, посевные, авиационные моторы, смазка стволов, умные академики, тяжелые «ЗИМы», сознательные бойцы, героические труженики тыла, справедливость партийных органов, полное несуществование человека по имени Лаврентий Берия (без которого на самом деле в обороне и науке не обходилось ничего). И даже если посреди полета зиял семилетний тюремный срок, выбитые передние зубы и расстрелянные двоюродные и родные братья, то это бесследно скрывала толща безмерной благодарности судьбе за выпавшее счастье сделать то, что неплохо было бы повторить и молодежи.

Никакой любви. Никаких там детишек и карточных игр, родительских собраний, футбола, красивых баб, просмотров кинофильмов, застолий (лишь хрестоматийная стопка «За победу!» – ее почли долгом описать все, – получается, что они выпили за жизнь); никаких похоронок с фронта и старух в сожженных деревнях, разрухи и людоедства, никаких сирот павших и казненных товарищей... Не поднимая глаз от борозды, растворяясь в цитатах классиков марксизма-ленинизма, в послесловии буквально превращаясь в Программу Коммунистической Партии Советского Союза, они уходили, сильно изменившись в гробах, успев прошептать, пока съезжались крематорные врата, самое главное – пару легенд про императора: хоть и обидел, хоть перестал звонить и вызывать, но в марте сорок шестого взял вдруг и – поставил стул в первый ряд маршалов на парадной фотосъемке в Георгиевском зале – и на этот стул меня молча усадил – своей рукой! – и что может быть выше? – прощайте, товарищи!

Молчание Шахурина вышло двумя изданиями под названием «Крылья победы» тиражом 1 000 000 экземпляров и содержало лишь три примера мелкого мемуарного воровства и старческой расслабленности. Например, бывший нарком особенно хвастался, что покончил с «текучкой кадров» на авиазаводах. Возможно, он просто забыл, что в день первого прогула рабочий не получал карточек на хлеб, наутро его вызывали в военкомат и первым эшелоном отправляли на фронт.

Четыреста оставшихся страниц удобно сокращаются до трех слов: *количество произведенных самолетов*. К июлю 1941 года пятьдесят самолетов в сутки! Через год император в Кремле показывал Черчиллю своих:

«Вот наш нарком авиапромышленности. Он отвечает за обеспечение фронта боевыми самолетами. И если он это не сделает, мы его повесим», – император показал, как затягивается на шее петля, и показал еще: а вот, видите, нарком весело смеется шутке. И нарком смеялся не шутке, а через тридцать лет вдруг отложил в сторону очки, потрогал натертую веревкой шею, приподнимая вздохом тяжелый от орденов пиджак, и, увидев меня в значительном отдалении, глухо сказал: «Рассчитываю на умение читателей увидеть за отдельными фразами нечто большее».

Вот только зачем это тебе, Алексей Иванович, рыжеватый, невысокий человек плотного телосложения? В таких случаях посланные неумолимые люди видят за отдельными фразами то, что надо, а не те тайные зарубки на столешнице, что отмечали количество трахнутых баб или арестованных сотрудником наркомата.

После выпаривания *количества произведенных самолетов* в донных отложениях просматривается хорошо сохранившаяся любовь к императору: доклады каждый день, приглашения отобедать, звонки в выходные, ближняя дача, дальняя, вот император говорит наркомам СССР: встречи с молодым Шахуриным приносят пользу лично мне (так говорил про многих, у многих кружились головы, а потом кружились головы их единственных сыновей с пистолетами).

Еще проглядывает желание красоваться. Вот на третий месяц войны Шахурин получает Звезду Героя Социалистического труда (№ 14) и через час, сознательно оставив золото на груди (и ведь не вычеркнул из книжки своей даже через тридцать лет «сознательно»), заваливает к императору (зная про него все: презрение к наградам, стоптанные валенки, смерть под старой вытертой шинелью) и, захлебываясь любовной дрожью, упивается криком Отца: «Нацепили всего на себя! может, вам только праздновать?! А работать некому?!»

Страсть к звездочкам, желание удобных квартир, массажных кушеток, так сказать, комфорта; завтракать и обедать дома, хвалиться приличным пальто на московской встрече союзников в верхах, а также: я первым из бауманских комсомольцев надел галстук, «на что требовалась определенная смелость», а всю коммунистическую личную историю передать единственным фактом: на XVIII съезд партии явился «одетым, как Утесов, в сиреновом костюме, белоснежная сорочка и модный галстук», и незабываемое счастье выделяться среди толстовок и гимнастеров прочих партийных воевод страшной предвойны.

Мне показалось: Уманский и Шахурин походили друг на друга чуть больше, чем походят друг на друга просто ровесники – надломившиеся в январе 1945 года мужчины невысокого роста, наевшие животы при сидячей работе, прославленные как любимцы императора, ценители роскошной жизни, рвущиеся наверх, имевшие по одному боготворимому ребенку и потерявшие детей в один день – 3 июня 1943 года.

Сразу за императором стояли трое, иногда меняясь местами, – Вячеслав Молотов, Лаврентий Берия и Анастас Микоян. Дольше всех прожил Молотов. Дряхлость одолела его волю, и великий человек выбрал в собеседники поэта Феликса Чуева и позволил записывать свои старческие, мелочные жалобы на прогулках по временам года.

Молотов ненавидел Литвинова, сменил его, когда стало ясно, что французы и англичане нас кинули, надо срочно договариваться с немцами. Немцы с евреем-наркомом говорить не будут. А Литвинов не понимал, что пакт с Гитлером – наше спасение... Про ненавистного Молотов, прогуливаясь, так сказал: «Литвинова держали послом в Штатах только потому, что его знал весь мир. Человек оказался гнилой. Совершенно враждебный нам. Хотя умница прекрасный, но ему не доверяли... Литвинов только случайно жив остался... Потом Литвинова отозвали и поставили этого... Уманского – он, конечно, такой несерьезный. Другого не было». Чуев перепутал: наоборот, Литвинов, вызванный из забвения, поехал в Штаты на место Уманского, но не важно, важно слово: несерьезный.

А в другой раз Молотов вспомнил Шахурина: за что его посадили? За то посадили, что без ведома Политбюро изъяли они один лонжерон из конструкции самолета для экономии металла – легчики начали разбиваться. «Наркомом был неплохим, особенно во время войны. Но по натуре – неглубокий человек».

Профессор Вилнис Сиполс, изучавший архив Молотова, записи бесед наркома, показал на допросе: «В записях Чуева много слов и выражений, Молотову не свойственных, а свойственных скорее „вояке“ Чуеву, поклоннику армии и нашего великого прошлого. Молотов не выражался так прямолинейно и грубо».

Наверное. И все-таки: про Шахурина и Уманского великий человек сказал одинаково почти: несерьезный, неглубокий...

Но ведь не это имелось в виду, когда мы начинали?

Я положил рядом и сравнил строчка за строчкой два издания «Крыльев победы» (первое вышло в правление Брежнева, когда императора уже допускалось хвалить, но мимоходом и скупно, второе вышло в правление Горбачева, когда редакторы в кабинетах и на небесах умерли, и на место возвращалось вычеркнутое, и все попыталось принять изначальный вид) – удивительно, но у наркома отняли всего несколько строк.

В первом издании лишь однажды скользнуло «семья жила за городом», но во втором (и получается, каноническом) Шахурин трижды написал про жену.

Сына Владимира в своей вечной жизни он не оставил.

Значит, жена. Спрашивать у нее.

Я оторвал бумажный лоскут, написал «Соня» и тупо посмотрел на четыре чернильные буквы. Софья Мироновна.

Отец и сын

Гольцман взглянул на последнее донесение, состоящее из женского имени, и пару минут ждал, пока я скажу первым:

– Один видный антисемит сообщил следствию, что до замужества Софья Шахуринна носила фамилию Вовси. Что она дочка Мирона Вовси, профессора из кремлевской больницы. Потом проходил по «делу врачей-отравителей»...

– Не соответствует действительности. Ее фамилия – Лурье.

И после приготовительного молчания:

– Мне, кажется, удалось договориться – тебя примет один... наш ветеран. Завтра. – Гольцман глотал кофе, измученно вздыхая: что за глыбу он отвалил с пещерного входа, кто сидит там среди мокриц и корешков над остывшей золой под наскальными росписями охоты на львов и оленей? – Только он давно ни с кем не говорил. Из дому уже несколько лет не выходит. Чувствует себя очень плохо. Лежит. Но голова ясная. Хотя в датах может напутать. Я сказал, что ты человек системы и что тебя послала система. Но, ты понимаешь, к нынешней системе у него свое отношение. У тебя будет пятнадцать минут. Он большой человек, но ты, не уточняя, кто он, задашь пару вопросов. С ним можешь говорить прямо. Но аккуратно. Не надо как ты любишь: а правда ли, что самолет Уманского взорвал НКВД? – Гольцман безжизненно улыбнулся. – Я не знаю, поможет ли он. Скажет только то, что считает нужным.

– Вы хотите сказать, что он сознательно будет вводить меня в заблуждение?

Гольцман зыркнул с суровым предостережением. Александру Наумовичу казалось – наш офис прослушивают. И всех повсюду прослушивают. С этим я соглашусь.

– Он скажет. Ты запомни. Потом мы вместе постараемся правильно понять.

Гольцман протянул мне два томика и отдельную книгу, оцетинившиеся зелеными закладками.

– Министр иностранных дел Советского Союза Андрей Андреевич Громыко. Мемуары и воспоминания сына. Больше у нас ничего не будет. Я планировал установить и опросить вдову Громыко, пока не умерла... Искали ее на дачах семьи в Перхушкове и Внукове, но наши источники сообщили, что у Лидии Дмитриевны прогрессирующий склероз, можно про нее забыть. Я приказал разыскать дочь через МГИМО, через отставников – работала там ученым секретарем, и муж там преподавал, кажется, этикет, Пирадов, что ли, фамилия, давно умер. Дочь на контакт не идет. Через своих детей передала: папа Уманского оценивал положительно.

Я просмотрел страницы, отмеченные закладками. Андрей Андреевич Громыко, известный врагам Империи как «великий немой» или «мистер нет», к тридцати годам дорос до кресла ученого секретаря института экономики и звания кандидата наук в области сельского хозяйства. Весной 1939 года, когда наркома Максима Литвинова отправили отдыхать на дачу под арест, а его плеяда разлетелась на пенсии, малозначимые должности и нары (за единственным многозначительным исключением по имени К. А. Уманский), Громыко совершил обыкновенный для тех лет соколиный взлет в американский отдел НКВД (не зная английского, имея лишь опыт руководства педагогами сельской школы), а уже через полгода отправился с Уманским на флагмане итальянского флота корабле «Рекс», впоследствии затопленном союзниками, – в помощь Уманскому? для присмотра за Уманским? на смену? – можно только гадать, что приказали новому секретарю посольства.

Все упоминания об Уманском в двухтомных мемуарах Громыко темны, суховаты и способны подтвердить любые подозрения.

«В Москву был вызван посол СССР в США Уманский, который, видимо, не вполне удовлетворял требованиям центра» (а что ты думаешь сам спустя полвека, владея всеми архивами, что мешает сказать?!).

«Как я понял позже (когда? при каких обстоятельствах? почему?), претензии к нему имелись и у Сталина, и у Молотова (почему такое разделение?). И хотя Уманский в США возвратился, тем не менее по всему было видно, что его работа подходит к концу» (ты ехал прямо на смену послу, но война внезапно воскресила Литвинова, и Уманского сменил не ты, а бывший нарком; ты еще два года присматривал теперь за Литвиновым и его ненавидел, а когда убрали и Литвинова и твоя очередь наконец-то дошла, президент Рузвельт написал императору: «Дядя Джо! Не могли бы вы объяснить, с какой целью вы заменили посла на почтовый ящик», – и император написал на полях синим карандашом довольное «Ха!»).

«К Уманскому со стороны официального аппарата Вашингтона проявлялось какое-то настороженное отношение» (почему? в чем это выразилось?).

«Американская печать распространяла выпады, носившие „персональный характер“» (какие?).

«Вначале я считал, что это следствие какой-то личной неприязни кого-то в госдепартаменте» (а потом? что ты узнал про Костю потом?! Что-то особое, если до сих пор боишься сказать?).

И Громыко смолк. Сокол назвал последнюю главу двухтомника «Партия идет с факелом Ленина», последними его словами стали: «Марксистско-ленинская наука для меня всегда, в том числе и сегодня, была и остается законом в практической деятельности». И умер.

Но сын министра прямо написал, хоть и с чужих слов: «В Вашингтоне появился умный, но недостаточно коммуникабельный Уманский. К тому же за ним укрепились „слава“ генерала НКВД».

– Где этот сын?

– Директор института Африки. Сидит на Кипре. Может, через пару месяцев заедет в Москву. Только он маленький совсем был, семь лет, младше Нины Уманской – что он может помнить?

Но мальчику что-то рассказывал папа.

Все люди вспоминают, но только некоторым приходится за это отвечать.

Я удивленно вздохнул и прошептал: «Палаццо». Институт Африки забрался в дом Тарасова, углом замыкающий Большой Патриарший переулок (сколько раз нам придется прочесывать вышеупомянутый переулок и следующие два, но кто тогда знал!); дом построил Иван Жолтовский, повторяя композицию палаццо в Тиене, идя по следу своего любимого Андреа Палладио.

Я подержал на языке неживое, цокающее «палаццо», глядя на узкие окна, на тяжелые глыбы. Угрюмый, обветренный дом. Никакого солнца на зеленых листьях. Только морские бури.

А. А. долго казалось, что наша встреча невозможна, но он переоценил возможности живых людей.

На окне приемной цветными стеклами выложили богоматерь с чернокожим младенцем, араба с факелом и полуголого негра с автоматом ПППШ. В витринах демонстрировались шляпы, тапки, коврики и музыкальный инструмент, похожий на миномет. Я перебрал книги на столике («Экономика развитого социализма», «Фронт национального освобождения Алжира», «Сражающаяся Африка»), заглянул во внутренний дворик – там в полной тишине шел снег, заноса фонтан и мертвые космы плюща, – и уставился в огромный, как пещера, камин: кто занимал эту комнату в доме Тарасова?

– У вас есть пятнадцать минут. Я так понимаю, для вас скорее важен факт встречи со мной, чем то, что я скажу.

Ах так! Вот и останешься таким, каким я тебя запомнил.

Он выдыхал на меня через стол запах старости. Толстощекий, занудливый, он говорил как слепец, не раскрывая глаз, и схватывался за висок, изображая припоминание; за спиной его стояли барабаны с бахромой и черный от времени пест в ступе.

...Жили мы в квартире посла на Шестнадцатой стрит, рядом со школой, во флигеле... Квартира в шесть комнат, три спальни, комната приемов. Большая прихожая... Американцы жили очень здорово, а мы с отцом ходили каждую неделю в кино. Вы книгу мою еще не читали о проблемах нового мышления? Подарить не могу – у меня ее нет. Поезжайте в институт международных отношений, в киоске там есть, поезжайте, купите и обязательно почитайте!

Отец пришел в наркомат в такое время, когда, сами знаете, смена шла большая... Уманский приходил к нам на квартиру на улице Чкалова, меня брал на колени, жена за ним повсюду, как... как уточка за селезнем! Отец Уманского уважал. И тот его уважал. Я вот не помню, знал ли Уманский по-английски? А вот Литвинова отец не воспринимал. И тот отца не воспринимал.

(Нина! – направлял я его. – Нина!!! – так что он вздрогнул.) Запомнил ее, особенно на каком-то приеме в посольстве. Очень веселились, сидели рядом, и она болтала. Вообще любила на себя обращать внимание.

Потом узнали, что сын какого-то военного, генерала, застрелил ее из ревности. Я впервые столкнулся с таким ужасным явлением, когда кто-то из тех, кого ты знал, убит.

(*Ты помнишь, как погибли ее родители?*) Отец с матерью говорили все время: какой-то рок навис над этой семьей. Рок. Они повторяли это слово. Хотя отец был материалист и верил в марксизм как в живое творческое учение, и марксизм изучал только по первоисточникам.

– Если позволите, еще буквально один уточняющий вопрос: вот вы написали, что про Уманского говорили в Америке, что он из НКВД...

– Вряд ли это правда... Этой темы я не хотел бы касаться. Когда мы становились дипломатами, мы давали присягу. Может быть, это кому-нибудь покажется смешным, но я считаю, что не должен делать вреда своей стране.

Я с отвращением отвернулся и вытер руки ветошью. Почуввав свободу, он потрусил за мной, поспешая: нормализация отношений с Китаем была испорчена идеологическими претензиями, в наших генералах сидел синдром 22 июня, если бы КПСС в шестидесятые года разрешила бы фракции, в Швеции нет бедных, у нас был социализм нечаевского толка, в США такие гетто, история – это не железная дорога, и нельзя судить прошлое нынешними законами (я в каждой паузе брезгливо вставлял: «Ну, спасибо, что нашли возможность со мною встретиться»), а вообще вы где работаете и какие вопросы ведете, вы не решаете вопросы собственности на землю в Одинцовском районе... Я выбрался на сухое место в приемной и выдохнул секретарше:

– Впустую потерянное время.

Она спокойно откликнулась:

– А вы чего ждали?

Все заснули, у меня не получается, долго, я ходил по себе, простукивая днище и холодные борта, за ними шуршала и плескалась вода... Я бы хотел, конечно, на прием, если бы такой доктор... Не узкий специалист, а вообще... По всему. И очень хороший. Я бы вот... Например, я путаю слова. Я вчера вместо «пельмени» сказал «котлеты». Как-то речь иногда... отдельно от головы, ускользает – язык выбирает слова сам, будто я не все время теперь могу думать, отключаюсь. Иногда на вещах, если повернешься, посмотришь – вижу огоньки. И сразу гаснут. Раз! Погасли. Мне кажется, хуже слышу. Кажется, на левое. Двадцать три. Шестнадцать. Дед плохо слышал. Отец. Травма шейного отдела позвоночника, не вполне свободно поворачиваюсь всем корпусом. От операции отказался. Хотели вставить титановые пластины, две, но я отказался: полторы тысячи долларов. К мануальщикам не хожу. Сказали, очень мне полезно плавать на

спине. Не хватает времени! Девять коронок на зубах. Стараюсь не запускать. Линзы однодневного ношения. Минус пять. В прошлом году первый раз была аллергия на цветение – никогда раньше не было. Пропалс митрального клапана. Грыжа пищевода. Киста в правой почке. Простатит. Недоразвитая нижняя челюсть. И еще, знаете, многое забываю, а сперва начал меньше видеть (на скошенном мною поле остаются косматые островки, а что именно в них – не вижу, и поле все теряется в тумане) – проходит день, и невозможно вспомнить, о чем ты думал.

Тревожит в основном вот что: почему никто не бежит по улицам и не кричит. Хотя люди куда-то все время деваются. Все люди куда-то все время деваются. Вот это меня тревожит. И никто не бежит и не кричит, как будто уйдут не все, не мы, но ведь люди уходят все, и на нас уже не рассчитывают; в телевизоре курят, моют головы, целуются и водят машины только молодые. Повышенная потливость. Обостренный рвотный рефлекс. Трубку я не могу глотать, чтоб глянуть, что внутри. А надо. Профилактика. А вам уже сказали, что все уходит? – без пощады, и самое главное: Я. Но почему-то никто не бежит и не кричит. Хотя кто-то *там* понимает. Что могут побежать. Ведь не зря – заметили? – по радио вкрадчивые, ложно-участливые голоса просят граждан вовремя сообщать о лицах в пачкающей одежде нарушающих спокойствие; *там-то* понимают, что как только все поймут, все сразу начнут бегать по улицам и кричать... но как-то все *здесь* не понимают, я понимаю, но вот тоже – только не сплю. Но сплю плохо, давно. Плохо засыпаю.

Иногда болит затылок, вот тут, слева. Особенно во время близости с женщиной, травма шейного отдела позвоночника, видимо, затрудняет кровоток, зато справа компенсирует. Да нет, и зимой. Нет. Не замечал. Нет. У родителей не было. Прадед умер от воспаления легких. На постоялом дворе не хватило места, люди ехали со свадьбы, он лег на пол. Я. Ничего не буду пить. Хвойные ванны я пробовал. Я спортсмен. У меня хорошо тренированное сердце. Регулярная половая жизнь. Я никогда не волнуюсь, я давно не работаю, занимаюсь только собой. Семью мне заводить уже поздно. Нет, детям нужна нормальная семья, это поздно уже.

Я только хочу спать, как спал в детстве, просыпаясь и снова засыпая в утренней истоме, под дождь, метель, в нагретой солнцем постели, вздрагивая ресницами и засыпая, – вот так научиться не вскакивать, как только свет разлепит глаза, и ты мигом вспомнишь, что с тобой скоро сделают.

Дачник

Женщина, похожая на иностранку и не похожая на женщину, пошла вперед:

– Заодно я... лекарства, – тащила поднос с пузырьками и чашками, с легким неодобрением напоминая, что говорить можно недолго – поменьше вопросов! Я семенил за ней по обжитой, поделенной наследниками даче, не запоминая ничего от напряжения и свободы от вступительной лжи ответов на неизбежное: кто вы? как вы меня нашли? зачем вам это надо?

– Садитесь здесь, – она склонилась над великим мастером, балконным жильцом, я оказался лицом к лесу. Оттуда несло однообразное кипение птичьих голосов, а на балконе подсчитывались капли, искалась такая желтенькая капсула, пошевеливались темные руки в кровоподтеках от капельниц, и ложка исполняла свой долг, вызывая пузырчатое бульканье и клетотанье старческого горла, завершавшееся промакивающим прикосновением салфетки; сейчас женщина отодвинется, и я скажу...

Втайне от Гольцмана я полночи запоминал фотографии и учил имена людей правды, попавших на свет: комиссары госбезопасности, начальники отделов, руководители главков и управлений, резиденты – им давно полагалось умереть, но они жили волей какой-то высшей необходимости. Написав в царствование Никиты Хрущева на исходе десятилетних тюремных сроков «за пособничество Берии» бумажные мольбы Инстанции дозволить с учетом прежних заслуг (мы все-таки ликвидировали Троцкого... а создание атомной бомбы?) встретить дома вплотную приблизившуюся смерть, с приложением истории неизлечимых, дожевывающих их болезней в полторы страницы машинописного текста через один интервал, копии анализов и кардиограмм, они вышли. И жили еще полвека другими жизнями, и, избегая «пишущих» и суеты, смотрели с балкона в ожидании прилета сороки или беличьих перепрыжек.

– Пятнадцать минут. Категорически! – И женщина пропала, оставшись за моей спиной. Это ничего. Я никогда не бываю один.

Мастер, безрукий, холмом закутанный в серое одеяло по горло, созерцал апрельский ошалевший лес; наползающие друг на друга синеватые губы, похожие на дождевых червей, улыбались.

Я тоже обернулся на деревья, не заметил там ничего, может, какие-то тени? Поблуждал взглядом: раздавленные, мясистые уши в мшистой седой поросли, избитая пожеванная кожа, синие жилки в пористом носу, прогалы в желтых зубах... Узнать в мастере кого-то сразу оказалось делом безнадежным (*хоть бы звание пробить?*), надеюсь, мне засчитают только чистое время. Он улыбался. Кричать или не кричать? – я сделал громкость на «умеренно»:

– Константин Уманский. Вы? лично? его видели?

– Один раз. Зашел к Берии, у него сидит... Только вернулся из Америки. После Перл-Харбора, – он заговорил с щеголеватой отчетливостью, не повернув ко мне головы, упиваясь подзабытым ощущением собственной силы, приготовившись вылепить из меня нужную фигурку для закрепления нужных очертаний прошлого. (*Уже соврал, Уманский вернулся из Америки задолго до нападения японцев... Кто же?*) – Советовал: распустите Коминтерн... И не давить церковь. Тогда американцы помогут. Мы выполнили.

Сейчас ты запнешься.

– Он работал на НКВД?

Но без помехи играла записанная в студии музыка:

– Еще со времен работы в телеграфном агентстве. Американцы расшифровали... «Венона» – слышали про такую? Там Уманский «Редактор». (*Ну нет, американцам действительно удалось расшифровать тысячи сообщений разведки ГРУ, военно-морской разведки и письма НКВД, операция «Венона», но начали они свою убийственную работу, когда Уманский два года уже лежал пеплом на Новодевичьем! За что при жизни Костю считали генералом*

НКВД?) Не дипломат в обычном смысле... И отозвали, чтоб он не раздражал... Использовали в сложных зондажах. Много заслуг. Установление конф-фиденциальных... с Гарри Гопкинсом. (Так и Литвинов...) Беседы с Хиссом (так и Литвинов!), – мастер с некоторым удовольствием шевельнулся. – Хисса... в конце сороковых... в связях с нами. (Так кого только не обвиняли в связях с советской разведкой в конце американских сороковых! Да кто ж ты?! Барковский? Павлов? Мукасей-«Зефир»?!) Работал по чехам... С Бенешем. Но самую большую... в Мексике. После Тегерана... мы вдруг... мировая держава! А Мексика – это мостик в Латинскую Америку. Все деньги... через него... Колоссальная самостоятельность... в привлечении резидентуры... Часто навещался в Штаты... Постоянно унижал Громыко. Просто издевался над ним. – Вдруг он замолчал, словно осознав, что говорил слишком быстро и не заполнил целиком отведенное время. И я тоже растерялся, и чтоб заполнить опасную тишину:

– Как он погиб?

– Самолет взорвался на взлете. Авиа... – потрудней ему стало говорить, – катастрофа...

– Резидентуру в Мексике возглавлял Василевский. Мне говорили, он большой специалист по диверсиям... И после гибели Уманского его сразу отозвали и повысили. Начальником военно-технической разведки...

– Хэх, как вы... Не он. Лев запрашивал разрешение... лететь с Уманским... Тем же самолетом. Ему отказали... – Слегка удивленно, но, стараясь не снизить монотонного темпа, старик разъяснял будущему. – В Мексике Лев работал неудачно: американцы его вычислили. Отвечал за освобождение Меркадера... Что Троцкого ликвидировал... Провалил! Нужно было в очень короткое время дать очень большую... взятку чиновнику... сидевшему на помилованиях... Время упустили. А местным боевикам Лев не поверил... А из Штатов пришла мощная телега о его разгуле... А из Мексики... совпало... телега от Дашкевича... что Лев... с какими-то бабами, – мастер неодобрительно прижмурился и сглотнул. – Привык... на широкую ногу еще в Париже – автомобили, особняки... И в этом они с Уманским... полное понимание. Дружили. В личных отчетах Меркулову... друг друга хвалили.

– Кто это – Дашкевич?

Я взглянул на мастера безобидно, но он молчал вглухую.

– Вы встречали потом Василевского? Он вспоминал Уманского?

– Ну, пил он в людных местах. Не скрывался... Вообще Лев хвастливый был. Но аккуратный. Закрытый... Смерть Уманского вспоминал.

– Почему?

– Любил вспомнить. И все. – Мастер натужно повернул голову и попытался взглянуть куда-то поверх меня. В спину ткнула маленькая жесткая ладошка: вышло время.

– Что вы знаете про обстоятельства смерти дочери Уманского? – быстро проговорил я и поднялся уходить, понуждаемый змеиным шипением в ухо. Старик, увядая, засыпая, прошептал еще менее внятно:

– Да, да... Генерального прокуро... Бочкова сняли... Хотел замя... шахуринское дело... скомпрометировано... огромное количество... – и он заснул; просто сползлись и склеились распухшие веки.

– Что такого *особенного*? Ну – дети. Несчастливая любовь! – прокричал я, выдавливаемый с балкона челядью под бухтение «да что же это такое! вон как вы его довели! мы же договаривались!» – Извините, я не расслышал! Можете повторить?! – Меня выводили другим путем мимо бронзового бюста посреди гостиной, мимо лосиных рогов, мимо «выпьте чаю?» Сырая, черная тропинка довела до ворот, я сел в машину и достал запищавший телефон. Гольцман.

– Да. Только что вышел. Что-то есть, упомянул Дашкевича. – Я заорал: – Я ничего не понял, я не понял, где он врал!

Не заметал ли он за Василевским следы и дело только в этом? И лишь выбравшись на Рублевку, отъехав, поостыв, я разобрал, что старик попытался просипеть мне в ответ:

«Любовь ни при чем».

А что же?!

Лев Василевский, полковник, сверстник Уманского, резидент в Париже, командир диверсионной группы в Испании, руководил нелегалами, просвечивающими атомный проект США в образе первого секретаря посольства Л. П. Тарасова. По стечению счастливых обстоятельств он избег расстрела и тюрьмы: одного из лучших исполнителей Империи всего лишь исключили из партии «за связь с Берией». После реабилитации сделался литератором, автором полусотни книг и, в ряду других, перевел любимую книгу моего детства «Одиссея капитана Блада» (в соавторстве с Горским, резидентом в Лондоне); я, украсившись сединой, из книги не помню почти ничего: побег из тюрьмы, абордаж, штурм форта, прекрасная пленница.

Почему после тюрем, срывания погон за «серьезные нарушения социалистической законности» и «дискредитацию себя за время работы в органах», после хрущевских безумных сокращений, ненавидимых всеми родами войск, подземные гвардейцы императора тихими подводными чудовищами скользнули в сценарии кинолент. «Рассказы о Ленине», редакторство в «Международной книге», перевод авантюрных романов? Неужели черные и серые полянки клавишей печатных машинок оказались единственной землей, достойной их умения влезать в чужое обличье, их горьковатого знания особенности своего одинокого пути, навыка нахождения тайных пружин, таланта внушать людям то, что они *обязаны* запомнить по свободной воле? Никто не знает.

Я отбросил телефон и вдруг сквозь сосны, березы, обочины увидел убегающую тень – Дашкевич, Дашкевич! И моя башка загудела, как трансформаторный шкаф, – так вот он кто, Дашкевич, ветхая, упрямая скотина на неясной должности в «Иностранной литературе»; то-то он испугался, когда я позвонил! Я шел, я бежал подземным переходом, с суровым недоверием вглядываясь в нищих, я томился в очереди в «Домодедово» на паспортный контроль и, повинаясь пограничнику, снял бейсболку с надписью «Российский футбольный союз» для лучшего сличения морды с паспортным фото, я катил в вонючем поезде на Луганск, припоминая радость угадывания приближающихся станций. Подкарауливание километровых столбиков, жадное вглядывание в чужую жизнь и мгновенное ее забвение – и я замер у магазинной витрины: сердце куриное, язык свиной, сердце утиное, филе грудки цыпленка, – разглядывал продающуюся рыбу, камбала похожа на грелку... Завтра же брать Дашкевича. Брать в полдень, на рабочем месте, как только дотелепается до кабинета; несколько прямых вопросов, зажать в углу и запугать, чтоб забоялся сдохнуть без «скорой»... Я разглядел под носом «Музей авиации и космонавтики», заставил работать всех: кассира продать билет, гардеробщика проснуться и принять куртку, хранителя открывать залы и включать свет. Из подшивок вынимались давно известные следствию вырезки про Шахурина, я напряженно прочел «Ломоносов – изобретатель первого вертолета» и покосился на низкорослую куклу космонавта в кресле, страшно похожую на мертвого фараона, и, наконец, Гольцман позвонил:

– Твое предположение подтвердилось. Август 1944-го, журнал «Харперс мэгэзин», «Советские ухаживания за Латинской Америкой». Читаю: «Отделение Телеграфного агентства Советского Союза в Мехико, имеющее колоссальный штат, возглавляет Юрий Дашкевич, пятнадцать лет своей журналистской деятельности находящийся в контакте с секретными агентами ОГПУ в разных странах». Это он.

Утром мне нужен его адрес. Кто прописан. Соседи. Поставить одного человека возле дома, и пусть ведет до редакции – там я встречу. В июле я сорвал и кусал одуванчиковый стебель, вспоминая забытые запахи жизни, и с удивлением обнаружил в середине его желтых густых лепестков еще какие-то пушистые закрученные вихры. (Похоже было на то, словно поднялся ветер, он шумел, как штормовое море, словно я жил в доме на берегу, и ветер врвался в окно, и море шумело громче), чуть затихал и обрывался резко совсем, а потом вспоминал и врвался ко мне опять, забрасывая на стены желтые квадраты автомобильного света – плот-

ный, ледяной шум. Только это все равно не море. Если выйти на крыльцо, не будет запахов водорослей и соленой воды, зелени и тепла, они есть даже в самой холодной южной ночи, нет черноморской неправдивости жизни, когда все слишком ненадолго. Настолько, что бессмысленно запоминать названия улиц и имя-отчество старушки, торгующей творогом по утрам.

Теперь надо... Больше я ненавижу только бриться и стоять в очереди за билетом на одну поездку первого числа каждого месяца.

– Я так рада, что ты позвонил.

– Алена, у тебя завтра утром, кажется, будет работа. Между десятью и двенадцатью. Возьми удостоверение центра социальной помощи.

– Опять пожилой? Мне так надоело... Почему они ничего не помнят?

Скоро я не лягу, меня не отпустят; ничего даром! Я слез с дивана, беззвучно матерясь:

– После убийства Уманской прошло пятьдесят шесть лет. Я в сорок лет не помню, что было в двадцать, что говорили друзья после футбола. Они ничего не говорили! Слова умирают. Память вымирает. Хотя, к сожалению, не до конца. Тогда что мы можем требовать от стариков? Мы-то знаем, чем кончилось у Шахурина и Уманской, а они не знали... И не обратили внимания. Ничего, пусть хоть врут – все пойдет в дело!

Беда, что никто не видел детей мертвыми. Как лежали? Положение тел...

– Хочешь, я приеду? Приготовлю что-нибудь поесть. Хотя раз поужинаешь по-человечески...

Одно и то же, заунывный скрип засохшей древесины...

– Да нет, я уже поел. Лучше так приезжай.

– Я не в твоём вкусе.

– Нет у меня никакого вкуса. Когда любишь, разве смотришь на волосы, глаза, руки?

Мой вкус: высокие, толстожопые, с маленькой, гладко зачесанной головкой. Огромная грудь, короткая шея. И черные сапоги чуть ниже колена на среднем каблуке.

Она перешла, наверное, на балкон, подальше от спящего мужа, от ребенка, взяла сигарету – будет курить и глядеть на автодвижение по Фрунзенской! Ей не хочется спать, происходит самое главное в жизни, ради чего она дышит, – она вздохнула, радуясь своей силе:

– Я так не могу. Я не хочу стать просто очередной.

Я нашел пульт от телека и зажег пятую кнопку: ЦСКА – «Сатурн», в записи, середина второго тайма, уже 1:0, Русев на шестой минуте, ненавижу Русева, такой тупорылый, не понимаю, зачем такую дубину Ярцев брал в сборную... В «Сатурне» только один нормальный – Быстров. Ну, Есипов.

– Да нету никого больше. Ты же знаешь, что я кроме тебя никого не люблю, – я пересел к компьютеру, дощелкав мышкой до «Частные фотографии. Только для взрослых», «Хочу анальный секс. 1 час – 600 рублей», «Тетя трахается с племянником. 150 фото и 25 минут видео».

Ее голос подтаял, намок, она шептала, наверное, зажмурившись:

– Хотя мне стало больно видеть какие-то вещи, которые, как я внушаю себе, должны оставлять меня равнодушными. Я терплю ежесекундную боль...

Я прошелся по именам: голая Лилия жрала какой-то паштет из одноразового корытца, выставив складчатый бок. Тощая рыжая Елена прижала к отсутствующей груди медвежонка. Дебильномордая Кристина намазала себе толстые круглые груди плотной пеной, напоминающей крем для бритья.

– Мне даже больнее твои намерения. А не тогда, когда я о ком-то узнаю... А я все всегда узнаю о твоих... Ты думаешь, они молчат? Но ничто не мешает мне сделать то небольшое, что в моих силах, для одной твоей улыбки, свободной минуты, спокойного дня... Ты молчишь. Ты не веришь...

Света делала вид, что потягивает компот из белой чашки, а свободную руку запустила в расстегнутые шорты. Катя села белым днем на детские качели и растопырила ноги, показывая отсутствие трусов. «Влажные киски. Видео».

– Алена, я так мало могу тебе дать. Но я хочу тебе сказать, когда я думаю про тебя, ничего не страшно. Как хорошо, что ты есть на земле.

Алена рассмеялась, словно сдерживая слезы:

– Ну что ты, глупый... Ты дал мне весь мир. Ты лучшее, что у меня есть, даже если тебя у меня нет. Не надо ничего взамен.

«Я трахаюсь. А ты? Жми здесь!» Анжела. Ну вот хоть что-то.

Имя: Анжела. Город: Санкт-Петербург. Число фотографий: 16.

Фото 1. Сидит на гостиничной кровати, жилистые ладони расстегнули брюки, на пальце кольцо, впалый живот, видны ребра. Светлые волосы по плечам, рубашка спущена. Черный бюстгалтер с бантиком между чашек.

– Я так хочу, чтобы ты была счастлива.

Фото 2. Пересела боком, расстегнула бюстгалтер, за одну грудь держится рукой. Бледная нечистая морда, толстоногая. Хронический гайморит.

Фото 3. Обе груди повисли, куда-то спрятала бюстгалтер. Грудь небольшая, но, видно, плотная. Левый глаз либо распух, либо косит. Как-то пьяно смотрит. Рот не закрывается.

– Са-ша, – Алена выдохнула и помолчала, плачуще вздыхая, – ми-лый! Я же вижу – ты просто ищешь любовь. Кто-то обидел, напугал тебя очень давно, и ты решил, что любви нет. Но она есть. Я живу ею, дышу. Пойми, даже если на всем свете только один человек, который тебя любит, как я, до конца, то это уже огромное счастье. А я тебя люблю так... Я запираюсь в ванной, включаю воду и плачу от счастья, что ты есть. От боли, что не могу быть все время рядом... – Что ты молчишь? Тебе тяжело, родной. Я знаю, тебе так тяжело... Столько ты несешь в себе...

Фото 7. Снова натянула штаны. Только пальцем вытащила показать из-за пояса кружевную резинку трусов.

– Ты боишься привязанностей потому, что боишься расставаний, этой маленькой смерти. Но, милый мой, мы живем здесь, сейчас, и все, что мы чувствуем, – это настоящее. Только от нас зависит, сколько проживет любовь. Я буду любить тебя всегда, пока дышу. Даже если больше не позвонишь и не позовешь. И забудешь, как звали. Я буду тебе сниться. Буду оберегать тебя. Стану травой под твоими ногами. Устал ты от меня?

Фото 9. Села, выпрямилась, расставила ноги, показывая трусы, черные кружева. Красивая грудь.

Фото 10. Опять легла на бок и схватилась за груди. Осталось шесть фото. Так трусов и не снимет!

– Что ты... Ты единственная женщина, которую я хочу видеть рядом с собой каждый день, всегда и слышать каждое мгновение... Но, я боюсь, дома там тебя потеряли... Беги спать, малыш...

Фото 11. Наконец! Задрала скрещенные ноги и, прямо уставившись в объектив, потянула вверх за веревочки и шнурочки трусы.

– Спокойной ночи, любимый.

Фото 12. Свалилась на бок, ноги зажали лобок, незагоревший лоскут внизу живота.

– Спокойной ночи, любимая...

– ... Почему ты не кладешь трубку?

– Ты первая.

– Нет, ты!

Фото 14. Завалилась назад, выставила пузо, хвалится криво выбритой дорожкой светлых волос. Ноги сомкнуты.

– Лучше ты.

– Хорошо. Давай я считаю до трех и кладем одновременно! Раз.

Фото 15. То же самое, только крупнее.

– Два. Три.

Фото 16. Упала, ну вот, навзничь, груди обмякли и расплылись в стороны, меж худых ляжек расклеились пирожком, слойкой натертые, мясистые, мягкие, припухшие... Я положил трубку, дождавшись гудков. Все...

Соня

Пока волки, по брюхо проваливаясь в снег, гнали к оврагу старого, изнемогающего Дашкевича, нашлось время посмотреть в окно, заметить, как сам собой собирается в щепотки тополиный пух на столе, и я заново почувал тревогу и даже страх: уже давно, с первых месяцев нашего пути, на ночевках, перед сном мне постоянно казалось: что-то еще. Обстоятельства гибели влюбленных подростков на Большом Каменном мосту 3 июня 1943 года скрывали что-то еще: темное, большое, каменное, что делало невозможным наше движение кратчайшим путем. Я успокаивал себя: там ничего нет, всего лишь «другое время» или «другие люди» – вещи, естественным образом не преодолимые...

Но подступали светлые июньские ночи, и невольно предчувствие ужаса возникло опять: *что-то* нас ждет там еще – я заставлял себя подняться с постели, пройти вперед по черному коридору, выставив подрагивающую руку в пустоту, и шарить: что? Это что-то не связано с личностью убийцы. Что-то рядом. Эту красивую историю неспроста никто не хотел вспоминать, ни один человек не согласился помочь, никто не говорил прямо. Что ж там еще?

В лучшем случае, бормотал я, промывая черешню в синей миске, это «что-то еще» – нить. Нам все равно пришлось бы потянуть за нитку, нанизавшую на себя все эти бусы, связавшую всех, и установить, чем причастен Филарет, строитель Большого Каменного моста, к взрыву самолета посла, направлявшегося из Мексики в Коста-Рику, – без нити Инстанция не согласует наше возвращение.

Но ночью, с омерзением вслушиваясь в спускающееся комариное нытье, я чувал: нет. *Это* – другое. Нас ждет что-то еще. Еще какие-то кости, придется нам долго идти, пока мы доделаем работу.

Я пытался не пропустить первый шорох, это «что-то еще» себя обязательно выдаст, попытавшись нас пожрать.

Соломон Сандлер, заместитель наркома авиапромышленности по тылу, разглядел в полувековой дали новогодний праздник и бледную девочку Таню – не танцевала, стояла в стороне. Помнится, Шахурин имел незаконнорожденную дочь, но по адресным базам Министерства внутренних дел Российской Федерации Татьяны Шахуриной не существовало.

Сандлер еще вспомнил: после тюрьмы Шахурин написал бумагу о своих ступеньках в ад. Все, кто читал, заливались слезами. Бумагу забрали братья. Пять братьев.

– Может быть, Соня, – шептал я. – Софья Мироновна Шахурина, урожденная Лурье. Про Софью Мироновну все как-то плохо вспоминают...

– Вот и я плохо. – Девяностопятилетний Сандлер едва ли видел меня, он сросся с креслом. – Пользовалась своим положением. Собрала вокруг далеких от авиации людей – артистов! Брата директором завода на Урал пристроила, другого брата – директором треста в Москве. И одевалась пышно. Поразила нарядом на банкете в честь Победы...

Я увидел на столе очередного железного человека магнитофон. Неужели диктует мемуары?

– Я уже не могу читать. Поэтому мне приносят из всероссийского общества слепых кассеты с записями классической литературы, я слушаю на аппарате.

Братьев Шахуриных нам досталось двое: Виктор и Сергей.

Сергей Иванович выглядел идеальной жертвой: младший в семье (не маразматик), преподает в Московском авиационном институте (не быдло), жил в семье наркома в момент трагедии (всему свидетель). Он снял трубку телефона в квартире на Патриарших прудах и услышал: его просят о встрече, есть основания предполагать, что Володя Шахурин не виноват в гибели Уманской, мы готовы содействовать утверждению исторической справедливости.

Я подождал, пока обрушатся пятьдесят прожитых лет, обнажив *тот самый день*, я дал ему обрадоваться, я изготовился наблюдать, как сила скрытой боли, гнет невысказанного *души сейчас разорвет*, лопнет брюхо, но младший брат вдруг одышливо прошелестел:

– А вы читали «Крылья победы»? Хорошо, что Алексея Ивановича помнят. Вы можете оставить свой телефон? Посоветуюсь с братом и перезвоню.

И не позвонил. Я не понял, что могло не срастись? – и через месяц заново набрал семь цифр. Он узнал, помнил, еще раз записал телефон.

– А вы читали книгу Алексея Ивановича? Там все написано. Вы сходите еще в Музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе, там все есть, и встреча будет не нужна. Я плохо себя чувствую.

Софья Мироновна? Володя? Рукописи наркома? Любил ли он сына? Видели вы Нину у себя дома?

Младший брат больше не слышал, брезгливо заныли телефонные гудки, и я вдруг понял, что *там* от моего шороха почему-то шевельнулась, поползла и рухнула ледяная лавина, – братья, как гномы, затаились в своих норах, проглотив ключи от горы, надеясь сдохнуть скорее, чем мы их выковырнем. Молчать, молчание спасет, как спасало многих в имперские годы.

– Значит, убил все-таки Володя. И они это знают точно. Просто не хотят еще раз ворошить все это... – Секретарша в белой блузке оказалась рядом, проявляя способность к очевидным выводам.

Девочка просто не представляла, как наши предшественники умели пугать.

Через пятьдесят дней (в середине августа) младшему Шахурину позвонил девичий голос из «Московского комсомольца» – семнадцатилетний запинаящийся ангел. Все льют грязь на наше прошлое, а ведь наша великая история... герои, как брат ваш... я собираюсь про Алексея Иваныча... на целую полосу... когда мне подъехать, выберем вместе фотографии, а правда, что...

Гном записал ее рабочий и домашний и уполз советоваться. Через пару недель девочка аукнула: ну что? Я столько уже успела прочесть про выдающегося организатора оборонной промышленности. Ей посоветовали изучить «Крылья победы» и обязательно сходить в музей на Поклонной горе – там есть все. И еще через пару недель: самочувствие худое, звонить больше не надо.

Прошло полгода, сто восемьдесят дней, и все, должно быть, забылось в однообразии старческих забот и надзора за учетом льгот в квитках за квартплату. С. И. Шахурину молодежь крикнула: «Возьми трубку», и он пришаркал, чтоб услышать, что гнусавый, неторопливый аспирант из научно-исследовательского центра истории авиации в городе Жуковском только что закончил диссертацию об уникальном опыте организации перемещения производственных мощностей в Поволжье и Сибирь в 1941 году, – и, как вы понимаете, центральной фигурой моей работы является нарком... как пример высокоэффективного... чей вклад в победу еще недостаточно оценен... и, конечно же, не хотелось допустить каких-то мелких, нелепых неточностей, Сергею Ивановичу, как ученому, это должно быть особенно понятно... и, если бы нашлось десять минут хотя бы навскидку пролистать, хотя бы ключевые моменты... да, домашний телефон у меня есть, и на работе... «Крылья победы» знаю почти наизусть за годы исследований, в музее на Поклонке сфотографировался у стенда с наградами Алексея Ивановича... Так когда я смогу?

Через месяц ему ответили: никогда. Здоровья нет. А то вот дали один раз фото наркома в «Советскую Россию», а там перепутали подписи. Хотя тоже очень просили. Двадцать или тридцать лет назад.

Я подвигал солдатиков, последние приобретения («всадники» пятидесятых, производитель неизвестен, знаменосец, «всадник с шашкой», остался «всадник со знаменем», считается в наборе разных три, я-то числил их какими-то болгарками, смущали папахи, и попервой чуть

не продал) – на пальцах остался дух металлической пыли; на вернисаже частый вопрос: почему не собираешь технику – не собираю, хотя мне нравятся корабли; танки из серии «1147–1947» бы купил...

Каста... Возможно, постучать должен свой – летчик-испытатель, писатель-документалист, герой Марк Галлай. Алена принесла с собой коробку конфет, но ей даже не предложили чаю.

«Я слышала, вы хорошо знали Шахурина?» – «Это провокация! Всего лишь крохотное дачное знакомство!» – «А про его сына...» – «Я ничего не знаю!» – «А про...» – «Ничего не помню! Даже не спрашивайте!» – «Как хоть он выглядел? Во что был одет?» – «Ничего не помню. Сам я был в летной форме, а в чем ходили другие, меня не интересовало!».

Алена убедительно заплакала: да что же это такое, никто ничего про героя, наркома, даже братья ни слова молодому поколению, какое-то издевательство, все бегает, словно про вора пытаюсь узнать... «Хорошо, – вскочил Галлай и объявил: – Иду звонить братьям. Они вас примут».

Вернулся и стыдливо развел руками: отказались. Но они всегда были такими. И не спрашивайте почему. До свиданья.

(Соня, хоть что-то, царапни его.) «А все-таки правда, что жена Шахурина летала на ночном бомбардировщике?»

«Жена Шахурина, – процедил Галлай, – была обыкновенная толстая еврейка».

Спустя год агенты установили пожилого племянника братьев, и он пришел на встречу в метро, тупо переспрашивая по телефону накануне: «А как я вас узнаю?» Я вручил ему ласковое письмо и список лстивых, мелочных вопросов: какие песни любил Алексей Иванович? как справлял дни рождения? как относился к футболу? а к хоккею? – ничего же страшного, вы убедите своих дядьев, что ничего страшного, внушал я ему и старался понравиться, специально побрился, а мы вас отблагодарим, это все для святого дела; не хотят встречаться, пусть хоть напишут. Через три недели племянник перезвонил: нет, они не хотят. Почему?! Нет.

Нет. Нет. Никогда.

Хорошо, братьев отложим. Но это ничего не изменит, Соню они не спрячут.

«Я помню все! Жили мы тогда в гостинице до 1931 года, швейцар дядя Яша отворял дверь в кафе-мороженом напротив через Тверскую, общий туалет... – и что за память у меня? Все помню! А как же называлась та гостиница во втором переулке от Моссовета? Отец мой – участник трех революций и комиссар чапаевской дивизии. Папа хорошо знал Ленина и посетил его после ранения с делегацией питерских рабочих и вручил первый портрет Карла Маркса, написанный художником-самоучкой. Поэтому в кабинет Ленина в музее семья наша ходила по пропуску, а как же называлась та гостиница?

Софья Мироновна... Она приходила в кремлевку, когда я там лежала, и приносила шоколад. Кому? Ну не мне же! В ком-то она была заинтересована. Гостиница, название такое... Мальчишка Шахурин остался жив, и отец спас его от суда – это я точно помню. Не так? Не надо обманывать! Нина Уманская? Была очень холеная. И дочка Кобулова была очень холеная, такие шубки... И Цурко... Но про них даже говорить не хочу – все врут. Мой муж Бичико служил в органах, дед его – отец Сталина, свадьбу играли в Заречье, я в зеленом платье из американской помощи – память у меня просто великолепная, а в музее все врут! И пусть врут».

«Папу часто вызывали петь в Кремль, иногда даже без аккомпаниатора, с одними нотами. Там он очень страдал из-за того, что не пил. В центральном госпитале после концерта всем раздали по огромному фужеру со спиртом и объявили тост: „За Родину! За Сталина!“ Мама открыла дверь, папа сделал шаг, сказал: „Мне плохо“ – и упал.

Я была пухлым ребенком, и Шахуриным нравилось смотреть, как я танцую.

Наши родители познакомились еще до войны на каком-то кремлевском приеме. Матери сошлись поближе в эвакуации в Куйбышеве. Но не подружились. Мама не признавала подруг,

не любила навещать приятельниц – отец терпеть не мог оставаться дома один. Поэтому со всеми – только поверхностные светские отношения.

Софья Мироновна одевалась вызывающе ярко, имела тонкие ноги, некрасивую фигуру и умела найти подход к любому человеку... Она помогала продуктами своим многочисленным родственникам, но не допускала их в свой салон, куда заходили Михоэлс, Ливанов, Козловский... Ее многие не любили за вызывающее поведение. Сталин на каком-то приеме спросил: кто эта фурия?... Когда все случилось, я в Большом театре слушала „Травиату“. Родители дома в тот вечер молчали, но выглядели озабоченными. Меня взяли к Шахуриным на квартиру проститься, мертвого Володю я не помню. Софья Мироновна вся желтого цвета, но вела себя сдержанно. Она считала, что у сына выдающиеся способности, и постоянным поклонением Володю... немного испортила. Рассказывали: на уроке он ни с того ни с сего ударил по лицу одноклассницу...»

«Софья Мироновна – ключевой человек в этой семье. Любопытная, властная, сильная, политически активная. Играла роль советника при муже, не желала ограничивать свои владения кухней. В одежде равнялась на жену Молотова – Жемчужина смущала дачных гостей просвечивающимся насквозь капроновым халатом и кончила известно чем».

«Обыкновенная местечковая еврейка с тонким носом! Бряцала на пианино, изображала важную даму, рассуждала о политике. Хвалилась своей близостью к Жемчужиной и, по-видимому, брала с нее пример» *(Полина Семеновна Жемчужина – бывшая работница табачной фабрики, не походила на образцовых жен императорских наркомов – домоседок, провинциалок, – управляла трестом «Товары для эсенин», наркоматом рыбной промышленности – ее, единственную из эсенин, допускали в ложу императора в театре).*

«Шахурина не соответствовала правилам времени. Появлялась в серьгах с бриллиантами, сама водила четырехместный „кадиллак“. То, что позволялось артисткам, считалось непозволительным для наркомовских жен – лишних денег не было, вернее показывать их нельзя».

«Почему-то она тянулась к Вере, жене секретаря московского горкома Щербакова. Своего сына Вера растила в советской простоте – он плавал кочегаром и масленщиком на пароходе, учился в военно-морской школе. Она с удивлением слушала рассказы Софьи Мироновны про необыкновенную одаренность Володи – мальчика растили как барина, преподавательницы приходили к нему на дом. Когда он пожелал в эвакуации учить испанский (английский, немецкий из школьной программы не подошел), Шахурина весь Куйбышев перевернула в поисках испанца! Всем уши прожужжала про необыкновенного сына. А ведь была омерзительная история, когда он ударил девочку на уроке, слышали про нее? Ударил просто так».

Родители С. М. Шахуриной съехались последний раз на Новодевичьем: к умершему в девяносто два года Мирону Ионовичу Лурье (лесопромышленник, служащий) подвезли с Дорогомиловского еврейского кладбища Лурье Елену Абрамовну, урожденную Березину, и еще шесть персон.

Я воткнул в песок саперную лопатку.

– Отец Софьи Мироновны – из брянских лесоторговцев. Дед по матери – Абрам Ильич – работал десятником на лесозаготовках. Я двоюродная сестра Софьи Мироновны, наши матери – родные сестры.

Мать моя так хотела учиться, что пробилась на выучку к раввину, хотя евреи учат только мальчиков. В двенадцать лет ушла из дому учиться дальше, устроилась в школе уборщицей, жила в комнате с крысами, но училась, выбрали комсоргом, а в шестнадцать лет вышла за двадцатипятилетнего Иосифа Абрамовича, прошедшего Гражданскую войну. Папа работал в НИИ гражданского флота, оттуда его и арестовали. Мама встала на осуждающем собрании: за мужа я ручаюсь! – и на завтра исчезла сама. Им дали по десять лет.

Остались мы, две сестры, семь и десять лет, с дедом и старой нянькой.

Нас никто не брал, все боялись. Шахуриных словно не существовало.

Осмелилась самая непутевая из сестер – Розалия по прозвищу Босячка, с загубленной судьбой: воевала в Гражданскую медсестрой, вышла замуж за телеграфиста, родила двойню – двойня умерла, вот она и забрала нас, поставила кровати в свою комнату-кишку длиной двенадцать метров, где у окна сидел шизофреник-муж и повторял: «Тише... слышите? за мной идут!»

Мама выросла в лагере в начальника планового отдела и боролась за повышение производительности труда заключенных, передала через удивленного ее успехами ревизора умную жалобу наверх и попала в негустую волну довоенных реабилитаций. Но сперва в конце тридцать девятого после двух инфарктов вернулся отец, а потом уже мама. Всю жизнь ей снился шестнадцатилетний мальчик-заключенный, внезапно запевший на работе «Ночь светла за рекой», – часовой убил его первым выстрелом.

Алексей Иванович Шахурин не любил ее воспоминаний, посмеивался: «Что? Никак забыть не можешь?»

Родители никогда при нас не вспоминали лагерь. Когда я обняла после разлуки отца, стало страшно: внутри у него при дыхании что-то сипело, гукало и свистело, словно там сворачивались и разворачивались меха испорченного баяна.

Вот тогда в нашей жизни возникли Соня и Леша Шахурины. Они притащили кремлевское медицинское светило Мирона Вовси, тот осмотрел отца и сказал: ему нечем жить. Отец прожил еще четыре года на первом этаже в доме на Патриарших прудах, очень страдал, что каждый день видит на окнах решетки, и умер – добил четвертый инфаркт.

Софья Мироновна работала в швейном главке. Тоненькая была, но после родов расплнела и полнела дальше еще...

– Нэлли Иосифовна, говорят, она всех раздражала своей внешностью... Мало хорошего говорят.

Тихая женщина взглянула с неожиданной твердостью:

– Нельзя осуждать ее за яркость! Вот такая она была. А почему должна таиться красивая женщина? Прятаться, бояться? Она старалась жить естественно и откровенно. А наряжались тогда все. Марфа Пешкова носила мерлушковые серые шубки. И Поскребышева – роскошные шубки. А Ашхен Лазаревна Микоян разве скромно одевалась? Просто у женщин сильна зависть...

Володя – необыкновенный мальчишка, не могу представить его взрослым. Легко учил языки, в Куйбышеве подходил к эвакуированным дипломатам, чтоб поупражняться в английском. Навестил в госпитале знаменитого Рубена Ибаррури – тот лечил раненую руку – и услышал от него песни испанских цыган. Сразу загорелся: учить испанский! Купил словарь и каждый день выписывал по сто слов и требовал, чтобы Нэл (он называл меня Нэл) проверяла, и я проверяла как каторжная.

Когда волновался, он заикался.

Нина Уманская – самая обыкновенная. Да еще в очках! Пепельные волосы. Но Володе очень нравилось, что она прекрасно знает язык.

В *тот* вечер позвонила домработница Дуся: с Володей беда, он в Первой градской. Мы с мамой выскочили на Садовое, раскинув руки поперек дороги, остановили троллейбус и на нем поехали в больницу.

На высокой кровати в пустой палате лежал Володя. На голове толстой шапкой были намотаны бинты. Он дышал. Врачи сказали, что если долго не придет в сознание – конец. Тут же черный Шахурин и обезумевшая Софья Мироновна. Страшно переживали, хотя в тех семьях и в те времена не открывали души. Никто не говорил: я люблю тебя.

Потом Володя лежал в гробу, и мне казалось – сейчас он встанет и скажет: здорово я над вами пошутил?

После ареста Алексея Ивановича Софья Мироновна поселилась у бездетного брата Ионы на Чистых прудах. Собирала передачи, а брат Алексея Ивановича Сергей – так вы звонили ему? – носил.

Вернулся седой, довольно крепкий на вид.

Мама первым делом задиристо спросила: «Ну что, Леша, а теперь ты – сможешь когда-нибудь *это* забыть?»

Две темы он не затрагивал никогда: сын и тюрьма. Лишь однажды, когда пришел навестить племянницу в инфекционном отделении кунцевской больницы и увидел квадратное, словно тюремное, окошко для передачи пищи и лекарств в двери бокса, вдруг так простонал: «Не могу это видеть...»

Тот, кто все видел

Не мог уснуть. Думал про Дашкевича. Думал про Уманского. Что я должен спросить. Не надо сразу пугать. Плохая ночь. Сразу вспоминаются ночи похуже. В том, что Эренбург написал о Константине Уманском (сгоряча мы пронеслись), – два неясных места. Уманский, страдая, пожертвовал счастьем любви ради спокойствия Нины, остался в семье. Но почему Эренбург спустя двадцать лет не назвал эту тайную любовь? Кто она? А вдруг и она была несвободна... Да еще член партийной организации и общественница... Хотя что-то Эренбург мог сказать, например, «влюбился без ума в удивительную зеленоглазую девушку, познакомившись с ней совершенно случайно в летнем кафе театра имени Вахтангова, с артистами которого водил дружбу...». Но – не оставил зацепок.

И второе. Несчастный Костя напоминает Эренбургу из Мексики: вы давали мне верный совет, да я не воспользовался им – увы... Получается, совет мог спасти девочку от пули. Но Эренбург восклицает (если не врет): что же я советовал?

Не помню! Нас это не должно остановить...

Не получилось. До полудня Дашкевич не вышел из своего дома на Верхней Первомайской. В редакции «Иностранной литературы» наш агент установил: старик позвонил и отпросился. Плохое самочувствие.

Я собрался и полетел доказывать неотвратимость судьбы.

Боря в новых очках неизменно дешевого вида гулял по Верхней Первомайской в форме майора милиции, вживаясь в роль участкового, и пугал старушек, торгующих пучками морковки и зеленью, между нашими встречами проходило время, каждый раз он приглашал меня на день рождения.

– Как я рад, что тебя вижу. Хотя какое-то творчество и свобода, – замогильно начал Боря. – Хотя в конторе меня ценят. Предлагают генеральскую должность в Сочи. А вот у меня, кстати, день рождения. Полтинник! Завтра собираю друзей демократов-жидомасонов, послезавтра друзей патриотов-коммунофашистов. Я себя чувствую на тридцать четыре года. Стометровку бегаю за десять секунд. Мышцы у меня упругие, жира нет. Женщину могу удовлетворить четыре раза. Сегодня пробовал. И вообще я счастлив, – закончил он со странными посторонними звуками в горле, словно подавляя рыдание.

– Дедушка не выходил. На этаже наш человек занимается исправлением лифта. Алена приехала, из машины не выходит. Меня послала матом. Кажется, поплакивает.

Я выдохнул вонючий воздух и скорым шагом подскочил к подъезду, набрал код, сверяясь с бумажным листком, и распахнул запищавшую дверь:

– Мы заходим, – вылезай из машины, тварь!

Алена открыла дверцу, отрицательно мотнула головой и крикнула что-то неясное, сквозь проезжающий автомобильный гул, типа: подойди, я не смогу. Надо.

– Что надо?! – заорал я.

– Поговорим!

– После поговорим!

Она выбралась из машины, отвернулась и нахохлилась: обними, пожалей.

– У тебя что, менструация?! – прошипел я, вцепился в нее и за руку поволок в подъезд, внутрь, на засыпанный рекламными листовками кафель, мимо ошарашенных хозяев пуделей и колясочных молодых матерей. Она хваталась за почтовые ящики и причитала сквозь забитую соплями глотку:

– Почему ты не можешь со мной поговорить? Почему я не могу знать правду? Я тебе по барабану, скажи? Скажи: ты мне по барабану! Тебе все равно, что со мной?! Я сейчас уеду.

– Алена, хватит, ладно? Шестой этаж. Шестьдесят девятая квартира. Юрий Дашкевич. Ты из центра социального обслуживания, не забыла документы? Что-нибудь про льготные лекарства, талоны на бесплатную стрижку, минут на...

– Зачем мы это делаем?! – Ноги ее подламывались, нечего таскаться на таких каблуках, так бы и вмазал по этой размалеванной морде! – Ты никогда ничего не объясняешь прямо... Я для тебя *никто*!

– Потом поговорим, не сейчас! Попьете чаю, пятнадцать минут, а потом позвонит Миргородский. Твоя задача – чтобы Дашкевич открыл дверь. Не уходи сразу, чтобы ему было спокойней, скажу, когда можно уходить...

– Я больше так не могу!!!

Я выволок ее на пожарную лестницу, подальше от лифтов.

– Что? Ну что?! Что случилось? – тряс я ее, как трясут березу, чтоб побольше свалилось майских жуков. Она скулила и отводила мои руки. – Ну, хорошо. Все. Прости меня. Просто ночь не спал. Все на нервах, извини. Все, все... Шестой этаж, квартира шестьдесят девять.

– Я не пойду!

– Алена, – я обнял ее и ткнулся губами в душистый, тошнотворный загривок. – Это очень важно для нашего дела. Этот человек может знать, почему взорвался самолет Уманского. Он может знать про Нину. Уманские улетели на следующий день после ее смерти, и все разговоры о том, кто убил, могли вестись только в Мексике. А из Мексики у нас остался один-единственный Дашкевич, все остальные умерли.

– Я не хочу больше.

– И если он бегал от нас, значит, что-то знает. Я тебя прошу.

Она вырвалась и красиво попятилась в обжитой бомжами угол, дежурно оскалясь выбеленными зубами, как скалятся в телесериалах.

– Зачем мы это делаем?

– Мы хотим узнать, кто убил Нину.

– Зачем?

– Вот сейчас, в эту минуту, это имеет хоть какое-то значение?!

– Теперь имеет! На кого мы работаем?

– На Кремль, – и я зажмурился от тоски. Все не вовремя. Надо гулять перед сном, тогда буду засыпать.

Она заткнулась, сделала собачьи глаза и поиграла губами, я осторожно притянул к себе длинное тело и поцеловал щеку, скулу, шею, висок, задержался на губах, шевельнувшихся в ответ; теплые, из кожзаменителя, промтоварные, они разомкнулись, выпустив язык, противно ткнувшийся мне в десны, я опустил руки на костлявый зад, и она жадно засопела и потерлась о меня передком. Господи, да что ж не трахают их мужья!

– Не обижайся, зайчонок. Ты же знаешь, как я тебя люблю. Как ты можешь меня бросить... Что останется от моей жизни, если ты уйдешь?

Она лизалась и плющила об меня давно откормившие груди, поднятые вверх галантерейными приспособлениями, – хотел же муж сделать ей силикон, так почему передумал?

– Ты должен знать. Я делаю все это только ради тебя. И мне очень тяжело. Хотела заехать забрать фотографии к тому старику, что с Урала. Дочь кричала: у него после разговора с вами инфаркт. В реанимации... И так плакала. Так называла меня...

– Это совпадение. Девяносто два года. Он и без тебя болел.

– Да. Да. Но ты попросил задать вопросы, неприятные ему. И я спрашивала. Он сразу плохо себя почувствовал и просил: закончим, придете еще. Но я знала: потом он откажется, и спрашивала, спрашивала. Я его заставляла, а он дома один, дочь в магазине. Он остался без защиты. Он не мог убежать.

Я посматривал за ее спину – там ждет Боря, – обманчиво-нескончаемое время шло, слезы высыхали.

– Я хочу, чтоб ты знал, что любовь есть, – она ткнула пальчиком мне под ключицу. – Ты очень добрый, ты очень любишь людей, хоть и стараешься этого не показывать. Но я знаю.

– Спасибо тебе. Дашкевич – это очень важно.

– Я пошла, – вытерлась и раскрасилась.

– Он должен открыть нам дверь. Но до этого – хотя бы пятнадцать минут, чтобы он к тебе проникся, чтоб тепло пошло.

– Все будет хорошо.

Я позвонил Боре:

– Она поднимается. Мы начинаем.

Я топтался у лифтов, с фальшивым интересом впивался в доску объявлений, запорошенную самодельной рекламой. В подъезд вошла старуха и повернулась ко мне испуганной спиной, явно предполагая: набросится душить! Следом ввалился Миргородский, утирая преющий под фуражкой чуб:

– Да что она делает, дура?!

– Просто плохое настроение, – я глядел на часы, – я ее успокоил.

– Какое на хрен успокоил?! – завопил Боря. – Мне позвонили: она спускается! Она ножками спускается с шестого этажа! Сейчас будет здесь.

Я же приказал: пятнадцать минут.

Сейчас я что-нибудь придумаю, нельзя упустить; там, в квартире, у нее что-то не получилось, но другого раза мы ждать не будем, возьмем как получится. Ее отпускаем, ее не уговаривать, потом порознь выходим на улицу, чтобы долго здесь не светиться, два часа переждем и поднимемся сами.

– Ей открыли дверь, она заходила, – бухтел Боря, – и вышла. Дура! Раскрылась. Вырядилась как проститутка, кто ж поверит, что она социальный работник! Они теперь никого не пустят, все, отбой! Уходим! Они же сейчас вызовут милицию... Да беги же за ней, спроси...

Я догонял Алену, худую спину. Буду ли я жалеть, если ее переедет поездом? нет; будет ли плакать она, если завтра кончусь я? – да, сильно и коротко.

– Ничего страшного. Не переживай. Я виноват. Не продумал сигнал, если пойдет что-то... не по плану. – Она не оборачивалась на мой успокаивающий голос. – Тебя там не обидели? Его нет дома? – И закричал: – Надо было цепляться! Пятнадцать минут! Я же объяснил, что мне это нужно!!!

– Он умер. Полтора часа назад. Я поеду. Моя очередь забирать Сережку из школы. Вечером позвони.

Я обернулся на дом на Верхней Первомайской – ветер донес запах лекарств, усталые причитания. Мы опоздали. Они его подчистили. Дашкевич знал... Я отворачивался, но дом окликал меня, как неслышно окликают нас потерянные вещи. Найти бы эту дверь с табличкой «Место сбора потерянных вещей», где хранится все: наручные часы с гравировкой «От командующего военно-транспортной авиацией», зубило из-под елки в детском саду, двадцать копеек за участие в ремонте дома деда Уколова, оловянная медсестра пятьдесят пятого года выпуска, мамин крестик... Он потерялся, все и началось, не вернуть, но важным кажется узнать, *как* теряются вещи, в какое мгновенье; с людьми – с этими ясно, с людьми другой вопрос: куда? Все знают ответ, но спрашивают и спрашивают...

Я никогда не устаю, у меня всегда хорошее настроение, мне нравится много ходить и находиться в поиске, просто приятно посидеть на спиленном тополе посреди дня на зеленой улице. Я следил за парнем серого цвета – тот порхал по верхам крапивы, перехватывая бабочек и подбирая куски с самой земли, – его ждали на кленовой ветке четверо – все толще папы – и

разевали рты с писком, как только он возвращался и тыкал добычу в выбранный рот, соблюдая известную лишь ему очередь.

Мы сидели с Борей дождливым днем на автобусной остановке с безмятежным безучастием бродяг, не имеющих денег на проезд. Наконец Миргородский сказал:

– Мы там... в рамках констатации смерти... опросили соседей Дашкевича, родственников. Архива нет. Ничего не вспоминал. Ничего не писал.

– Можно было и не спрашивать.

– На работе кто-то подслушал его разговор с ученым Серго Микояном. Сыном того самого. Микоян просил: напишите все, что знаете, не носите в себе. Ведь и Абакумова, и Меркулова уже расстреляли. Их больше нет.

– Это ошибка.

– Дашкевич, конечно, не написал. Но – я проверил – Микоян занимается Латинской Америкой. Между прочим, изучал деятельность именно нашего клиента – Кости.

По траве к нам спешил Гольцман, едва не спотыкаясь, молодо покраснев, растрепав на ветру седины. Сейчас скажет: Володя жив, прописан у дочери в Кратове, инженер-путеец на пенсии. Мне начинало казаться: кончится этим – ну, говори...

– Мы нашли свидетеля. Он видел их мертвыми. Он жив.

Оказалось, в «Учительской газете» за 1996 год обнаружился жеваный пересказ любви Шахурина и Уманской с необязательным, бессмысленным до загадочности добавлением: сын наркома соцобеспечения Лев Шабуров видел, как мертвую Нину уносили с места убийства. Точка.

Через двое суток мы нашли телефон, адрес. Шабуров не успел умереть и попытался слабым голосом сообщить следствию, что не помнит ничего, но сдался перед неотвратимостью судьбы. Он долго колебался, где встречаться, не желая вести незнакомца в дом. Во дворе.

Я чистил зубы перед охотой и думал: а почему он должен запомнить этот день? Погоду? Ее волосы? Лицо милиционера? Положение тела? Прошло *пятьдесят девять лет*. Прошла его жизнь. Что я помню, допустим, про первую свою любовь? Да все помню, если тронуть. Но это ж не первая его любовь. И ведь не все живут, запоминая время так, словно намерены вернуться, не понимая, что прошлое не только безвозвратно, но и враждебно. Просто мир, которого больше не существует. Где мы – тень, застывшая на наших поступках, где трава не прогибается под тяжестью наших шагов.

...Он ждал у арки желтоватого дома одиннадцать по Ленинскому проспекту и испуганно смотрел на меня. Аккуратная рубашка, заправленная в наглаженные брюки. Чистые коричневые туфли. Седые волосы зачесаны назад. Выглядит алкоголиком пятидесяти лет. Но просто стар – семьдесят семь.

Где ваша машина? Нет машины. У вас нету машины? Нет машины. Мы увязли. Он попытался спланировать неведомое, так легче, твой план – ты хозяин; в мозгу его еще с вечера зародился и пророс следующий распорядок: сперва он покажет, где удобней припарковаться во дворе, а затем... Но – нет машины, и у него вылетело из головы, что намечено дальше. Я подпихнул его и повел аркой мимо курящих продавщиц магазина «Джипы» и дверей ателье свадебной моды; он обреченно шаркал впереди, я всматривался в затылок в красных трупных пятнах, в дряблые шишковатые руки – когда-нибудь у меня будут такие же.

Вокруг лавочек выгуливали ретриверов, шум Ленинского остался снаружи, газон поливали три одинаково пузатые работницы коммунального хозяйства.

– Как вы меня нашли?

Почему-то всем это интересно. Никто не верит, что когда-то это случится и с ним.

– Я не мог уснуть после разговора с вами (я звонил в девять вечера). Вся жизнь стояла перед глазами (*понятное дело, для чего ж мы еще*).

Чтобы дать ему расслабиться – отец, мать? Дрожащим голосом нарисовалась история блондинки, в тридцать восьмом, многозначительном, взлетевшей через Всесоюзный центральный совет профсоюзов и незначительный наркомат до заместителя безжалостного Шкирятова в комиссии партийного контроля. Отец командовал трестом «Сортсеговош» – в пятьдесят пять лет его забрали в комиссары минометного полка, скончался от ран в Спас-Деминске Калужской области. У утопающего начали подрагивать руки, он привычно прижал их коленями, его начинало клинить на именах.

Что вы видели своими глазами? Я был не один. Кто-то прибежал: Шахурина и Уманскую убили! *(Он сказал: убили. Значит, никто не видел момента выстрела, значит, первые подбегавшие не увидели у мальчика-самоубийцы в руке того самого «вальтера».)* Все побежали. На мосту стояли люди. И на земле стояли люди. На площадку не пускали никого. Нина лежала лицом вниз *(ты смотрел сверху, с моста)*, прямо на лестнице *(получается, в нее выстрелили, когда она спускалась или пыталась бежать)*, платье сильно задралось, и я подумал: какие у нее толстые ноги. *(Руки его затряслись уже несдержимо.)* На площадке стоял милиционер. В войну под мостом всегда дежурил милиционер... Какие толстые у Нины ноги, помню. Красивая. Еще дочь Петровского красивая была. Цурко красивая девка, раз заходил к ним домой. Самая модная была дочь Смушкевича, командующего ВВС, как же ее звали?

– Роза.

– Точно! О чем я говорил? Эрка Кузнецова, когда узнала, что Шахурин... не выжил, сказала: сволочь, так ему и надо.

– А пистолета у него в руке не нашли, – мимоходом заметил я, словно это было чем-то скучным, маловажным, пустым, выждал достаточное для немого подтверждения время, толкнулся и прыгнул в чертову черную дыру вперед ногами. – Они ведь были на мосту не одни. Там же был и третий.

Шабуров устало помолчал, подождал и выдал, слабо усмехнувшись собственному страху:

– Вы и про это знаете...

– Кто?

Говори! У тебя же в глазах шевелится это имя – копошится! Ты держишь его на языке – жжжет! Ты же точно знаешь! Вмазать бы тебе по затылку! Чтобы выплюнул!

Он глотал, сопел, моргал.

И все кончилось. Раковина закрылась и упала на дно, провалившись в песок.

Он понял, что я его обманул.

Мы еще посидели, недовольные друг другом, мне пришла зажужжавшая эсэмэска: «Хочу, чтобы ты мой клитор стер в порошок», Шабуров тревожно шевельнулся:

– Это у вас... не записывает?

Значит, с ними по мосту... шел кто-то третий.

Я коротко разъяснил, что принимается и как стирается, до свидания, но он изо всей силы вцепился в последнего в своей жизни собеседника: у матери был брат в Лысьве, делал на заводе каски и котелки для Первой мировой, приговорили к смерти в пятнадцатом году, в семнадцатом освободили, а в восемнадцатом убили, мать ездила на опознание; книгу она написала – «Женщина большой силы» на английском языке, орден Трудового Красного Знамени у нее, номер 251; мы воровали книги репрессированных в Доме правительства, залезали прямо в грузовик, а боец боялся пальнуть – вдруг сын наркома? В книжке одной так и написано: «Левка Шабуров воровал книги», – он рассмеялся, довольный такой эпитафией. Я рывком оторвал его клешни, и Левка Шабуров с ясным шепотом осел под воду; шелохнувшись, вода сомкнулась над мальчишеской макушкой и разгладилась, стоило мне свернуть в арку.

Облака

Я старался больше не смотреть под ноги. Надо остановиться. Вскрытие начнем поперечным надрезом. Обаятельного посла никто не любил в США. Семья Уманских неспроста очутилась в Москве. Нину убили по какой-то другой причине.

Еще я рисовал облака.

В первом облаке я написал: «Третий на мосту, про него знают, но боятся называть».

В другом написал: «Третий, которого там никто не видел, но многие знают, что он там был».

В следующем: «Что он там делал? шел с ними? шел навстречу?»

И все зачеркнул. Зачем? Зачем? Зачем он унес пистолет? Или – если стрелял он, зачем выбросил «вальтер», вместо того чтобы вложить Володе в руку? Или, если он свидетель, почему не оставил, как было – в руке Шахурина?

Я поднял глаза от бумажных облаков. Свидетельница уже рассказывала про внучку, умная девчонка, работает в PR-агентстве, но нет у нее парня.

Борис Штейн, 1901 года рождения, крещеный еврей из Запорожья, Петербургский политех, пять языков, Империи служил в народном комиссариате иностранных дел, человек Литвинова, посол в Италии. Когда Литвинова смахнули, Штейна отозвали, но пощадили. В районе Профсоюзной мы обнаружили его дочь.

– Уманский красивый... Зеленые глаза. Две страсти у него... Одна – женщины. Непонятно, почему женился на Раисе. Любовницы... Балерина Лепешинская. Да и много прочих. Дочь Нина – свет в окошке в этой семье. Очаровательное дитя. Похожа на Костю, но что-то от Раисы. Такой же большой рот, но Раю он портил, а Нине добавлял обаяния. Костя пришел к нам после смерти дочери, я на него взглянуть боялась, так страшно он плакал и проклинал себя.

– Проклинал себя?

– Еще бы! Раиса после гибели дочери практически сошла с ума.

– Инна Борисовна, почему в Америке он вел себя так вызывающе?

Дочь Штейна после некоторого раздумья ответила прежде не открывавшуюся мне правду:

– Разве это зависело от него? Костя всегда был только таким, точно таким, каким позволяла ему быть партия, Сталин. Когда папу единственный раз в жизни, после возвращения из Финляндии, принял Сталин и *пожал* руку – я три дня не давала ее мыть. Рука коснулась божества! Отец все понимал про нашу жизнь, но ничего не объяснял, оберегая мою цельность. А когда умер Сталин – горько плакал. Мама возмутилась: дурак! Что ты плачешь? Умер тиран! Папа ответил: я оплакиваю свои идеалы.

Можно уходить. Я просмотрел протокол. Да, вот еще:

– Вы сказали, у Уманского две страсти... А вторая?

– Страсть к высшей власти.

– Да?

– Костя выбирал, в какую школу отдать дочь. Я училась в Италии в лицее, но в Москве папа отправил меня в самую обыкновенную школу. А Уманский искал полезных знакомств, хотя бы через дочь, к ней тянулись... Он ощущал себя на взлете, жаждал возвышения, новых постов... И он устроил Нину в *ту самую* школу. Хотя Эренбург ему советовал: Костя, не делай этого. И Уманский потом плакал у нас: почему я не послушался?!

Совет мог спасти Нину Уманскую, Эренбург через двадцать лет его не вспомнил.

– Страсть к высшей власти? Школа? – небольшую серую комнату налево от приемной занимал Гольцман. Газетные подшивки, вырезки и папки с протоколами да фотоархив. – А что это за особенная школа?

– Сто семьдесят пятая школа в Старопименовском переулке. Она и сейчас есть. Хочешь туда сходить?

– Сначала допрошу Уманского. Потом Америка. Хотя нужно обязательно узнать, почему Володя ударил на уроке девочку – возможно, это объяснит, почему другую девочку он убил.

– Вам звонила Алена Сергеевна.

Я попросил секретаршу закрыть рот, сделать чай и куда-нибудь деться.

Печенье, сахар... Всегда волнуешься. Грохот подкованной обуви по половицам – конвоир постучался, засунул голову в фуражку: разрешите? – и затащил за локоть Уманского с запрокинутой, как у слепца, головой, подсказывая:

– Левее, шаг вперед, – и приземляя на табурет: – Спокойно садимся. Спокойно сидим.

Уманский не видел меня. Он не видел никого. Карие глаза пусто, не моргая тонули в окружавшей его тьме. Он сидел сгорбившись, не обнаружив на сиденье спинки, – невысокий, щуплый, комплекция образца середины тридцатых годов, круглые очки. Изредка облизывал губы и открывал в утомленной гримасе золотозубый оскал, шевелился, чтобы переменить позу и поудобней уложить на коленях соединенные наручниками ладони. Ему оставили на голове большую кепку. Из кармана пиджака торчал белый уголок платка.

Я старался не заглядывать ему в лицо, я хлебал чай и изучал заоконные крыши – не Париж, конечно, не смотровая площадка «Самаритэна», – в приемной надрывался телефон, – но все равно видел: висок, щеку и скулу, всю левую сторону морды клиента сцапали багрово-синюшные травянистые узоры, словно он заснул на лугу, забыв положить ладошку под голову по детскому обычаю, и какая-то вминающая, сапоговая сила впечатала его голову – в землю.

– Я родился 14 мая 1902 года в Николаеве в семье инженера по машиностроению в фирме Изоскова. Отец Александр Александрович. Мать Тереза Абрамовна Голыштерн. Семья в 1907 году переехала в Москву, спустя шесть лет отец умер. После смерти отца семья сильно нуждалась (*надо как-то подчеркнуть близость к пролетариату*), и я подрабатывал репетитором. Окончил восьмиклассную гимназию и один год отучился в университете на отделении внешних сношений.

Политически оформился в пятнадцать лет после Февральской революции, участвуя в агитации за мир. Первое место работы – нарядчик в гараже Наркомата по военным и морским делам (*ведомство Троцкого, хорошее место для нужных знакомств*). Затем секретарь заведующего Центропечати. В тот период, поскольку прилично владел иностранными языками, был направлен ЦК в распоряжение Исполбюро Коминтерна, и в конце 1919 года меня послали на подпольную работу в Мюнхен (*сразу после падения Баварской республики? Сочинил Костя, спасая биографию, кто-то не прощал ему заграничных пиджаков*); по заданию австрийского ЦК открыл в Вене информационное агентство «РОСТА-Вена» для сообщений о польской войне (*вот, похоже на правду*), а в 1922 году сменил тов. Мих. Кольцова на должности зав. информбюро НКВД (*так ты хвастал, пока Кольцов числился лучшим пером императора, пока его не били на допросах*).

Вернувшись в Москву, я хотел перейти на учебу и был принят на историческое отделение ИКП (*что такое, типа «красная профессура»?*), однако долго и серьезно болел (*сладко жил и ленился*), отстал от учебы и вернулся к практической работе в тщетной надежде сочетать ее с дальнейшей учебой.

Переводил и записывал беседы тов. Сталина с Эмилем Людвигом (1931 год), Г. Уэллсом и Роем Говардом (1936) (*это и есть «не раз выступал переводчиком при тов. Сталине»?*).

Десять лет публиковался анонимно и под псевдонимами. Выполнял партийные поручения и вел общественную работу. Уклона от линии партии у меня не было.

– А строгий выговор в 1925 году?

Это за неуплату членских взносов в течение четырех месяцев. Выговор сняли после прохождения проверки в 1936 году.

– Кто вас рекомендовал в партию?

Л. Н. Старк и Т. Ф. Малкин (фамилия и инициалы второго произнесены небрежно. Старк – «старый большевик», заместитель наркома почт и телеграфа, покровитель Есенина, служил дипломатом в Эстонии и двенадцать лет в Афганистане, тайно представляя Коминтерн в северных провинциях Индии; запомнился сложным характером и преследованием в служебной деятельности личных целей – расстрелян в 1938 году, а вот Малкин... Кто же это? Может быть, Б. Ф. Малков – начальник Центропечати, еще один «старый большевик», входивший к Ленину, также покровитель Есенина, но особенно Маяковского; это секретарем Малкова работал Костя?).

Женат. Жена – Раиса Михайловна Шейнина, дочь приказчика в магазине готового платья Мондля Михаила Ароновича Шейнина и крестьянки Александры Леонтьевны Лавровой, умершей после родов.

Познакомились в Вене; ввиду смерти матери мою будущую супругу отец направил к своей сестре Марии Ленской в Австрию, она с шестнадцати лет работала конторщицей на шоколадной фабрике, после нашей свадьбы перешла на службу в полпредстве РСФСР в Вене (отличная жена для подпольщика!).

– У вас есть родственники за границей?

Имею брата по первому браку отца, Леонида Уманского, около пятидесяти лет, выехавшего в Америку в 1915 году в город (неразборчиво). С ним связи не поддерживаю.

– Ваша жена показала следствию, что ваша мать умерла в 1940 году.

Это... не совсем так. Не имею сведений. Если она жива, ей около шестидесяти пяти лет. Мать переехала в Австрию и находится на иждивении родственников, осевших там до Русско-японской войны. Связи с ней никакой не поддерживаю. Даже адреса не знаю (судьба еврейки в Третьем рейхе тебя не волнует?).

В Москве я жил: в гостинице «Люкс» («мы сидели на полу в душной комнате, пили, играли джаз и беспутино проводили время» – запомнил Костю в «Люксе» американец), Тверская, 13, – шесть лет; Хоромный переулок, 2/6; два года – Спиридоновка, 17; до 1942 года – в гостинице «Москва» (почему не упомянул Дом правительства, куда – через мост – отправился проводить твою дочь Шахурин?).

Дочь Нина.

За дачу ложных и неправильных сведений я предупрежден об ответственности.

– Идите. Когда будет нужно, мы вас позовем.

Почему тебя не оставили в Америке? Кто взорвал в Мексике? Безвредного, несерьезного? В сообщениях советской разведки Соединенные Штаты именовались «Страной», Мексика – «Деревней». Максима Литвинова называли Дед. Подлинный псевдоним Уманского остался неизвестен.

До войны рука Москвы только ощупывала Штаты, не охватывая, не сжимала и не держала континент; еще не требовались атомные секреты и цели для диверсантов в третьей мировой, разведчики пренебрегали конспирацией, агенты не скрывали симпатий к Империи, и только к середине сороковых, как аккуратно выразился один лубянский летописец, «эра вседозволенности подошла к концу».

Костя раздражал администрацию Рузвельта. Чем? Детскими встречами с профсоюзными лидерами типа Ли Пресснана, агента «группы Уэара» («встретился с соблюдением необходимых предосторожностей за городом», «Уманский, как это ему свойственно, „избавлялся от хвоста“, комически полагая, что его передвижения имеют международное значение»)? Заботой о судьбе беглецов? Да и сколько там добежало – два, три...

Офицер военной разведки Александр Кривицкий (Самуил Гинзбург, Вальтер, Гролл, Валентин, Томас, Мартин Лесснер) убежал от тридцать седьмого года и, зарабатывая на хлеб, выдал сто агентов (и нашего золотого самородка – шифровальщика Мага!). Из книжки «Я был агентом Сталина» все желающие узнали: советского посла Кривицкий знает с малолетства, Костя откосил от армии («зачем терять два года в казармах?»), стремится «убить двух зайцев»: по воле ОГПУ подслушивал разговоры в гостинице «Люкс» и «принадлежит к числу немногих коммунистов, кому удалось проникнуть за колючую проволоку, отделяющую прежнюю партию большевиков от новой. Он отлично преуспел в этом». Кривицкого нашли 8 февраля в гостинице «Bellevue» мертвым, и, видимо, это следовало считать самоубийством на почве нервного срыва.

Позже в Америке с дочерью и женой объявился полковник, носивший имя Александр Орлов (взамен поистрепавшихся Фельдбин, Никольский, Швед) – гений вербовки (учебник написал! «кембриджская пятерка» – его крестники), резидент в Испании (переправил в империю золото Испанской республики), девушки стрелялись от любви напротив его окон. Как-то в июле в испанский порт причалило советское судно, и человека, условно называемого Орлов, пригласил подняться на борт для незначительной беседы руководитель иностранного отдела НКВД с фамилией, начинающейся на букву Ш (и ему – недолго оставалось). Орлов понял (в Империи уже арестовали его зятя): на корабле приплыла за ним смерть – он ударился оземь и исчез, с дочерью и женой, прихватив шестьдесят тысяч долларов, отложенных на оперативную работу. Он, единственный из беглых, не пустился зарабатывать воспаление мозга и свинцовую пулю обличениями кровавого чудовища и другими иудинскими способами, а черкнул из Штатов императору и еще не расстрелянному наркому Ежову лично: если не будете меня искать и не тронете мать, я не раскрою агентуру и свет не коснется документов о наших испанских делах...

Император скомкал письмо и сказал: а, не трогайте эту мразь.

И «кембриджская пятерка» доработала свое и потрясла Англию побегами в Москву.

А Орлов спокойно дожил до 1973 года, меняя имена и скитаясь по маленьким городкам в пустынной местности, где каждый приезжий как на ладони. Но с удивительной регулярностью (уже много после войны) случайные американские прохожие вдруг обращались к нему по-русски: ну, как ты тут? Живешь помаленьку? Освоился? Ну, дай тебе Бог, живи пока... Но помни, что обещал. Мы-то все помним. Но и ты – ПОМНИ.

Конечно, без Кости не обошлись похороны иуды, Льва Троцкого. Выдавленный силой, не знающей слово «невозможно», из Норвегии, Троцкий переплыл в глухоманистую, страдающую левыми завихрениями Мексику – Мексика немедленно получила от советского правительства предложение вступить в самое выгодное совместное нефтяное дело в обмен на высылку вурдалака дальше, в сторону Южного полюса – согласны? Нет? Путешествие Льва Давидовича сквозь крематорий Пантеона Долорес в землю собственного сада стало неотвратимым. В Нью-Йорк прибыл один из лучших «исполнителей» императора Наум Эйтингон и возглавил на свету экспортно-импортную фирму, а во тьме – американо-мексиканскую резидентуру для проведения операции «Утка». Через пять месяцев утка крякнула, комнату Троцкого сквозь дверь изрешетили из автоматов, он спасся под кроватью. Еще через пять месяцев Меркадер зарубил Троцкого ледорубом и сел в камеру без окон в мексиканской тюрьме, назвавшись канадским бизнесменом Фрэнком Джексон. Его били два раза в день; в газетах печатали фото: узник моет в камере полы; узник молчал (двадцать лет), наши делали все, чтоб его вытащить, все, в чем мог проявить себя Костя. Рутин, ничего особенного.

Все изменила война и атомная бомба: нового резидента в США император уже напутствовал лично. Агенты влияния, четыре агентурные сети, база для нелегалов Василевского в Мексике, восемь сотрудников администрации Рузвельта, работавших на советскую разведку... но Уманского это уже не касалось, он долгим, кружным путем, в обход немецких подлодок в Атлантике плыл и летел уже в Москву, задумываясь, сколько проживет на родной земле, и

с горечью припоминая свою недавнюю кокетливую мольбу Молотову: «Исполняется три года моего безвыездного пребывания в США. Хотя бы ради того, чтобы прикоснуться к советской жизни, на самый короткий срок, быстрым пароходом, без всяких задержек в Европе, получить ваши указания, урегулировать ряд практических дел...». И вот теперь сентябрь сорок первого, его отозвали для *разбора*, и он возвращался, чтобы прикоснуться к советской жизни, не зная, не станет ли это прикосновением револьверного дула к затылку.

Так, я продвинулся назад, всматриваясь в распаханное, чуя спиной все жарче адову топку. Шел человек дачной подмосковной местностью, в траве выше головы, крапиве, семена застре-вали в волосах, оглядываясь на призраки костлявых дачников с вилами, так подумал я и оста-новился, очнулся посреди исторической библиотеки. Но ведь нигде не указано «с дочерью и женой» – Уманского срочно отозвали в сентябре 1941 года, он возвратился один. Уже 2 октября, когда немцы приближались к Москве, а машины давили на улицах людей в непривыч-ной темноте светомаскировки, он объяснял на совещании коноводам нашей пропаганды, как важно поднимать «еврейскую тему»; в ноябре его встречали в кабинете у Берии, а в декабре Эренбург видел его холостяцкое житье в гостинице «Москва» – и никто не пишет «с женой и дочерью». А где же Нина и Раиса Михайловна? И если их не было там сразу, выходит, девочку под пули привез не Уманский и в смерти Нины виноват кто-то другой? Надо посмотреть, когда она появилась в школе, все эти воспоминания «в начале войны», «в середине учебного года» могут оказаться старческим враньем... На мгновенье, на миг в меня плеснулся радост-ный страх и откатил; где-то там, впереди, я словно видел уже очертания неизвестной пока, но существующей человеческой фигуры – очень скоро мы высветим ее. Так кто же их проводил? Неужели Громыко? Литвинов? Неустановленное лицо? Ревнивая жена потащилась следом за неистовым Костей? Я старался не загадывать, это же не игра, чтобы потом неприятно не удив-ляться или мелочно не упиваться собственной проницательностью...

Библиотечный день

По исторической библиотеке прохаживались седые интеллигенты в мешковатых джинсах, словно украденных у детей, из-под пиджаков торчали свитера; близорукие ловцы мелюзги лежали на газетных ржавых подшивках; иностранцам, пялящимся в мерцающие ноутбуки, заказанную литературу холуйски доставляли к столу; аспирантки прикладывались к бутылочкам с водой и с шуршаньем доставали яблоки из целлофановых пакетов.

Для созерцания я отобрал рыжеватую девицу на высоких каблуках, в коротенькой клетчатой юбке, широкой, как пастушья шляпа, подол пружинисто подлетал при ходьбе – ходила она беспрерывно, звякая пряжками сапог, показывая то грудь, то зад. Двигалась девушка с легкой неловкостью, словно нечасто встает на каблуки, отсюда и вихлястая походка, и сутулость, внятно намекавшая на основательную тяжесть зада. Бедро ее качало, как «дворники» на лобовом автомобильном стекле, бедра расталкивали незримых прохожих и широко раздавались, когда она присаживалась к рыхлому большому товарищу в очках, с кучерявой, выглядевшей потной шевелюрой и черной мордой, что никогда не выбреешь дочиста, – она прилегала на товарища, и целовала в ухо, и обнимала крепко-накрепко, жмурясь в ответ на мой взгляд. Бедный парень, он даже в буфете одной рукой ломал вилок котлеты с луком, а другой держал ее за бок... Я ждал, когда он подыметесь и пойдет в туалет.

Через несколько дней в библиотеку он поехал один, а девушка осталась с дочкой на даче под Сергиевым Посадом. Я услал водителя искать грибы в березовой посадке вдоль дороги, дочку понимающие соседи увели собирать малину и посмотреть кроликов. Ну и дача! Горячей воды нет, холодная – в бочке за летней кухней. Весь в поту, я подымался в мансарду, к кровати, занавешенной марлевыми полотнами от комариных нашествий, с недочитанной детской книжкой посреди перины.

– Милый! Я так тебя люблю.

Она возилась на мне, касаясь губ соленой и потной кожей, я невольно видел постаревшее от загара лицо с противным белесым пушком, сожженную спину в прыщах и красных волдырях, трогал редкие волосы под поперечным шрамом кесарева... груди остро провисли, как сардельки, я больше не мог, схватил их ладонями и вlepил обратно в грудную клетку, чтоб распухли, окрепли, помолодели, чтоб представить ее другой, чтоб скорее получилось, и подгоняюще заворочался сам, мокрая и хлюпающая.

Ей нравилось обниматься, она облизывалась и подставляла губы, ворсистое свое лицо... давай я тебя покормлю, полью, вытру, принесу полотенце, почему ты такой грустный, милый; и опять подставляла губы и смеялась, из всего складывая вопрос: следующий раз – когда? И хотелось тотчас сказать: никогда! – но я знал, что через три месяца это сгладится и она сгодится, и записывал телефон, дни рождения (а когда у дочки? имя потом уточню), целовал в ответ на детское надувание губок: «У-у, я буду скучать»...

Сквозь руки и губы я пробивался на крыльцо, словно прорубаясь сквозь джунгли, срывая с плеч змеистые плети, смахивая с глаз волосяную паутину, уворачиваясь от тайных поглаживаний и банки экологически чистой смородины – поклевать в дороге. Она испуганно заглянула в мое лицо:

– Ты что, милый?

– Все хорошо, – и – сдохнуть! – на дороге рядом с водителем, на сухой, подсыпанной щебнем грунтовке стояла в белой маечке Алена, курила и ждала, рожая улыбку. Машину оставила в березовой тени.

– У тебя вдруг стало такое лицо... Как у ребенка, который нечаянно сделал кому-то больно. Как ты, любимый?

– Как мне сейчас может быть плохо? Ну что ты. Я так счастлив.

Девушка просияла и сцапала мою едва не отдернувшуюся руку:

– Я тебя провожу.

– Останься. А то придет дочь, а тебя нет!

Мало ли к кому я мог приезжать, не станет же она лизать меня на глазах у соседей.

– Идем, идем...

Мы вышли за калитку и побрели к воротам, держась за руки – нежность! – меж слив и вишен и густой малины, прущей сквозь заборы, я спрашивал и отвечал, я, напрягаясь, хихикал... Алена вдруг отвернулась и ушла прятаться в машину. У ворот, на старте мучения, я выдавил:

– Ну...

Девушка таинственно оглянулась и с размаху обхватила меня:

– Я буду тебя ждать. Очень-очень. Тебе правда понравилось? Ты хоть немножко вспоминай обо мне.

Постонала, похныкала, потерлась и осталась у железных ворот садоводческого товарищества «Березки-4». Я посмотрел на своего ублюдка водителя. Он показал:

– Три подберезовика и один белый. И сыроежек тьма. И то я еще побоялся вглубь идти.

Сесть и уехать. Но я повел себя к твари в красной машине, к неумолимо распахнутой дверце, к свободному сиденью, гостеприимному, как стоматологическое ложе. – Я скажу: Алена, я тебе никогда ничего не обещал, пусть все это кончится, все равно будет смерть и сотрет все; все, что мне осталось, – немного покоя и доиграть в солдатики, не отрываясь на школьные четверти, не вскакивая помочь бабушке полить перец, – и мямл штаны, стесняясь засунуть руку внутрь и почесать. Алена вдруг выглянула и приветливо кивнула, разогнав мучительные морщинки:

– Хочешь, отпустим водителя и я тебя довезу?

Мне совершенно этого не хочется. Не хочется тебя видеть, с тобой говорить, с тобой жить. Хочется, чтобы ты выскакивала только после нажатия кнопки. Отсасывала и задвигалась назад.

Она поднатужилась и засветилась, засияла заплаканными, задымленными глазами:

– Ты не брал телефон, а потом отключил. Я испугалась, что с тобой что-то случилось. Позвонила водителю, он объяснить ничего не может: съехали с шоссе, остановились, ушел... В офисе никто не знает, куда ты поехал, я думала: вдруг тебе понадобится помощь... Господи, какое счастье, что ты жив! – и Алена припала ко мне, чтобы хоть чем-то объяснить засочившиеся слезы. – Господи, это самое главное! – Она задыхалась, словно ей закладывал горло прущий от моей рубашки запах. – А когда я поняла, что с тобой все в порядке, знаешь, что я стала делать? Я стала вспоминать наши первые дни, нашу любовь, только хорошее – а у нас столько хорошего, на всю жизнь хватит...

Как ты улыбаешься. Как ты меня первый раз обнял. Помнишь, что ты сказал? Ты мне очень нужна, каждую минуту, если бы ты была маленькая, я бы носил тебя в нагрудном кармане... Как мы шли с тобой и летело белое перо, и ты сказал: запомни этот день... И я так стояла и думала: все у нас будет хорошо, все у нас будет хорошо! – И с каким-то злобным оттенком заключила: – Сашка, я так тебя люблю! – и вытерла слезы. – Все у нас будет. Правда?

– Правда.

– Садись быстрее.

Я присел и влез в дыру, где некуда вытянуть ноги, Алена нагнулась и схватила меня за шею, потыкалась сухими табачными губами, подержала, поперекавывала что-то внутри и вдруг выпалила:

– Тебе надо спешить. Звонил Шахурин. Сергей Иванович Шахурин! И сказал, что будет говорить только с тобой.

Я обомлел. Пока запускал гудки телефон, я думал: что случилось? Что же там произошло за горным хребтом, на кладбище? Умер тот, кого они боялись? Неужели все сейчас и – закончится, нас впустят с понатыми, подымут люк, скрытый ковром из верблюжьей шерсти, вкрутят лампочку в патрон, и бедная наша действительность вдруг предстанет не такой, какой мы ее искали, в какую тыкались наши слепые кротовьи морды... Было все вот так, больше не изменить?

– Ал-ло. Да, – он выслушал осторожное мое имя и прошептал: – Я получил ваше письмо.

– Сергей Иванович! Может, это какое-то другое письмо? Я вам писал шесть лет назад.

– Ваше. Тут и телефон. Просто перебирал бумаги и нашел. Вы хотели встретиться, – цедилося невероятное, кап-кап.

– Мы можем встретиться?

– А вы читали книгу Алексея Ивановича? Это хорошо. Вы не заходили в музей на Поклонной горе?

– Много раз. Там витрина с мундиром вашего брата. – Я нагнулся к едва заметной в траве противопехотной mine, я бросал крошки незримой плотве, я, сколько хватало, тянул, тянул раскладную руку-удочку-телескоп с угощением недоверчивой белке.

– В каком году? А? Что-то плохо слышно... А я зашел недавно – витрина пустая. Я говорю: как же так? Оказывается, ордена забрали на экспертизу, на подлинность.

– Когда мы сможем встретиться, поговорить про Алексея Ивановича?

– Давайте так... Себя неважно, правда, чувствую... Ведь многие писали, а сейчас как-то молодежь меньше... Хотя я заходил к генеральному конструктору завода «Сатурн». Память... Хорошо бы увековечить память.

Тогда это точно по адресу, к нам.

– Вы сможете завтра?

– Завтра...

– Четверг.

– Четверг...

– В шесть часов. *В шесть часов.*

– А вы проявили интерес к Алексею Ивановичу...

– Где? Где мы увидимся?

– Я вечером выхожу посидеть... на лавочке. Вы сможете, если на лавочке?

– Где?!

– У пруда. Я активный участник борьбы... против реконструкции пруда. Лужков сказал, – шелестел он, дул седой ветерок, – вы преподали власти урок...

– Патриаршие пруды? На лавочке у Патриарших прудов? Завтра! В шесть часов! Где?

– Памятник Крылову...

Все! Я выдохнул, облизнулся, размял шею. Значит, там есть памятник Крылову. Все, все. Секретарша взлетающей птицей мелькнула мимо меня и обернулась в дверях:

– Почему у вас все получается? Все, что вы хотите? Я так рада! Мы столько ждали, – и убежала; быстрые, веселые каблучки.

Кремлевские стены

И все бесполезно, они не могли добиться успеха, но не могли вернуться или просто ради отдыха постоять. Их не обманывали, просто молчали в ответ. Развалины, привезенные на инвалидных креслах, – замыкающее поколение Империи – отказывалось от заключительного слова. Почему?

Ради медицинского интереса и личного участия я тоже позвонил в пару дверей на Фрунзенской и Ленинградке.

– Я все время лежу. Я астматик. В той комнате – больная дочь, слышите – лежит неслышно. Мы ждем врача. Закройте, пожалуйста, форточки. Я про Шахурина... такое знаю... – Наклонилась к моим выросшим ушам. – Не скажете никому? И никому не скажете, что я сказала? – И просипела: – Он убил одноклассницу. На мосту!

Я покосился в телевизор, где стреляли, убивали, но никто не раздевался.

– Я хочу написать книгу о своих четырех одноклассниках, пошедших на войну из Алупки. Еще мне посчастливилось быть знакомой с композитором. Его считали соперником Рахманинова, но он спился и стал аккомпаниатором. Название книги я уже придумала – «Имя и подвиг ваши известны». Но никто не хочет печатать.

Я хотел сообщить: вот только что прилетел из Крыма – Воронцовский дворец, ослик Яшка, над бывшей школой города Алупки висит флаг независимой Украины.

– Для себя пишите.

Она отрезала:

– Для себя не хочу, – и, поколебавшись, повелась, как и все: – Я покажу вам альбом, фотографии родителей.

Исторгнув все запасы фальшивого умиления, я спросил про императорского гвардейца, ближнего боярина душегубного партийного контроля:

– А что вам рассказывал отец?

– На пенсии он заболел и пролежал в постели восемнадцать лет. Отец ничего не рассказывал. Он умер за месяц до Брежнева и повторял: не говорите лишнего, берегитесь. И сам молчал.

Я возвращался в Крым. Нечаянно подпихивая коленями впереди стоящее авиапассажирское кресло, я задумался: а если б я знал наверняка, что набегом своим сожгу, сомну, изуродую их оставшиеся месяцы и недели, подрегулированную таблетками тишину их снов, привычную прощальную мелодию, покой орденоносной тяжести – повернул бы назад свою орду? Да нет, конечно, нет. Нет жалости. И много причин. Вот одна: правда железных людей высохла и отлакировалась, их покой и молчание уже неприступны. И мы год за годом осаждали город, что уже не существовал.

Возможно, думал я про красные кирпичи, теряя веру в себя в多月месячных попытках одолеть третью ступень пасьянса «Паук», возможно, это не случайно, так и задумывалось старшими: чтобы конверт «завещание» оказался пустым, чтобы последнюю указательную стрелу «казаков-разбойников» затерли, чтобы дети напрасно бегали по дачному участку в поисках последней записки с подсказкой, где клад, – но как у них получилось? как это сделалось над ними само?

Первыми встревожились наступившим безмолвием немцы, когда в апреле вокруг Берлина смыкалась красная клокочущая жижа и Гитлер кричал: «Я должен был так же, как и Сталин, расстрелять всех своих генералов!». Геббельс просиживал вечера над личными делами наркомов и маршалов Советского Союза, бесполезно вслушиваясь в биографические сведения и вглядываясь в немые рабоче-крестьянские лики: что же с ними сделалось? какой-то метеорит! И европейские обыватели, сдвинув на затылки панамки, наблюдали странное свече-

ние на востоке, а охотники, добравшись через пятьдесят лет до эпицентра взрыва, находили только обелиски со звездой над массовыми захоронениями и каменные скульптуры с поднятой рукой – словно гораздо длилельнее, длиннее и совершенней повторилось время Ивана Грозного, когда летописание оборвалось и от месяцев, лет сохранились только слепые от ужаса свидетельства «немцев», полоумные визги бежавших недобитков да поминальник, составленный перед смертью царем.

Рукописание собственных мыслей преодолевалось как искушение. Вожди перестали переписываться в середине тридцатых годов, когда наладилась телефонная связь, прекратились частые выезды на кавказские дачи – отстроились в Подмоскowie. Вожди и железные люди – никогда, с 1917 года, ни один (сотни, тысячи знавших грамоту русских душ, прежде путавших рукописную литературу и религию) – не посмели завести или продолжить дневник. Особенно боязливые катали ученические прописи, перебеляя домашние работы над ошибками, и равнялись на лондонского посла Майского – тот сам выслал почтой императору чучело когда-то повсеместно встречавшейся птицы: «Посылаю мой дневник вам. Делайте с ним, что хотите. С товарищеским приветом. И. Майский».

Потом довольно быстро начали исчезать основополагающие и сущностные *документы*, протоколы человеческих обсуждений на заседаниях за обеденным столом, и, наконец, свинцовый гроб наглухо запаялся изнутри – *император запретил записывать за собой*. Максим Горький (его каменный профиль впереди Маяковского, напротив Пушкина и Толстого на фасадах школ-пятиэтажек) со слезами неясного происхождения прошептал про императора: «Мастер. И хозяин времени» (кажется, неточная запись, точку после «мастер» надо устранить) и наступило полное, как заключают историки и патологоанатомы, «письменное и устное молчание». Остались решения. Но исчезли мотивы. Но в полном порядке подкинули нам протоколы допросов, что никогда не высохнут от крови, как сказочная мокрень-трава – чем дольше сушишь, тем мокрей, в них живые, полные страдания голоса человекoв повторяют диктуемое Абсолютной Силой, что, конечно, избавляет нас от пошлых слезливых отступлений «мне больно!», криков «мама! мамочка!» и прочих малоценных шкурок и сухожилий, но уничтожает единоличное, забавное содержание этих человекoв.

Сказанные вслух слова оказались бессильны, а после уже не значили ничего. Родную, земляную, пахнущую молоком личную речь поцеловали в макушечку и выбросили из вагона на скоростном участке между станциями – она одичала, обобществилась и оскотинела в рамках газетных колонок и свинцовых рядов типографского шрифта; и всякие там трепеты нежных душ («Мне очень тяжело, Ваше императорское величество, что я являюсь причиной такого Вашего волнения. Я никогда не хотел огорчить Вас, и мне больно видеть, что принятое Вами решение вызывает в Вас такое волнение. С Вашего дозволения я пришел проститься с Вами и прошу Вас, по русскому обычаю, не поминать меня лихом. Если я чем-либо не угодил Вам, простите меня и поверьте тому, что я Вам служил всеми силами моего разума и всей моей безграничной преданностью») ликвидировались вместе с последним царем, сожжены, засыпаны известью, брошены в шахты.

Они боялись, толковало быдло, и – молчали, боялись «сталинского террора», рабье племя! Чего там – дрожали, что убьют... Лагеря, Лубянка, пуля, дети в приютах с клеймами на лбу... Но империя страха развалилась бы в 4 часа 22 минуты 22 июня 1941 года, еще до того, как Молотов после пыточной паузы и вздоха заставил себя произнести в радиомикрофон: «Советское правительство... и его глава товарищ Сталин... поручили мне сделать следующее заявление...» Неужели только страх?... Как писал командарм Гай в письме, казавшемся ему *главным*: «В камере темно, да и слезы мешают писать...» Но так и немцы боялись гестапо, концлагеря, никто не хотел на мясницкие крюки, или качаться на рояльных струнах (как те ребята-взрыватели), или стреляться в родовом имении под присмотром генерала СС (как тот из пустыни), однако же по команде «не бояться» достали из полевых сумок дневники «восточ-

ного похода», где под различными датами записано: «фюрер совершает безумство за безумством» и «мы обречены»... А русские князья и дружинники, когда опустели лобные места, «стояли немые», в согласии промолчав сотню томов мемуаров, как и прежде надиктованных Абсолютной Силой, исправленных редакторами в офицерском звании. Где свидетельства? где воспоминания железного поколения? Как написал тридцать четыре года назад майор запаса Шилов: «Их труды, наверное, читают жены»... Мучаясь от забвения павших друзей, ненавидя Хрущева за сталинскую войну «по глобусу» и брежневскую мнимую полководческую славу, обесценившую ордена, не имея ни крохи веры в рай-ад, они валились в могилы молча, соответствуя формуле Лазаря Кагановича «Никому, ни о чем, никогда». Молчали и опальные, и победители. Генеральные конструкторы, маршалы, наркомы, секретари ЦК – никто не узнает, что видели железные люди там, там... за смертельной гранью – что мерцало им оттуда, какой немилосердный ад античных времен? Маршал Голованов шептал жене, выдыхая последний воздух: «Мама, какая страшная жизнь», – женщине, девчонке, что вдруг поцеловала его сама возле парадного и вздрогнула от обиды и убежала, как только летчик спросил: «И много у вас было таких поцелуев?» А теперь она причитала: «Что ты? Что ты, почему ты так говоришь? Почему страшная жизнь?» – «Твое счастье, что ты этого не понимаешь».

Для ясности, чтобы избавить от сомнений, что заматание следов и тишина не *просто так*, нас подождали не постельные грелки и конюхи, а старшие – Молотов, Маленков, Ворошилов, Микоян, Каганович (да и Берия дотянул бы, кабы не расстреляли). Отмороженные, размятые ледником столетние люди бродили среди нас, писали и обдумывали что-то в своих скитах, ни разу не встретившись за тридцать лет проживания в соседних подъездах, «без слов», как раньше писали под карикатурами, – без слов, хмуро взглядывая на приходящих сантехников и двоюродных племянников. И как раньше, умирая, хрипели: «Попа...», так теперь когда пришла пора, они нацарапали иноческими клешнями: восстановите в партии! – и ничего кроме! – рассказав не больше мертвых, соблюдя уговор. За посмертными мемуарами Кагановича стояла, пуская жадные слюни, очередь и получила в лапы библейскую пачку бумаги со словами «Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза и ее великий вождь Иосиф Виссарионович Сталин!», написанными 43 278 624 раза... Лишь единственный раз, после похорон жены, инфаркта и перед смертью, Маленков, открыв глаза, прошептал: в октябре 1941 все руководство покинуло Москву и он остался на хозяйстве один – фантастический пустяк, не подлежащий проверке по своей ничтожности, – и это все? После жертвоприношения, многомиллионного отсева, после рывка от собирания колосков к шарикку – искусственному спутнику Земли?!

Все наши карты и досье, расположение улиц, узлов связи и кровоснабжения, свычаи и обычаи осаждаемого города, переставшего существовать, сообщено детьми, ровесниками Вовы Шахурина, и является дезинформацией. Абсолютная Сила, велевшая отцам молчать, разрывала родовые традиции, веру в Бога, тысячекилометровые расстояния, семейные привязанности и даже (никакого «даже» – «и»!) любовь. Император, я уверен, и сам ужасался, читая письма: «Просит предоставить ему любую форму (по указанию ЦК) реабилитации. От себя вносит предложение разрешить ему лично расстрелять всех приговоренных к расстрелу по процессу, в том числе и свою бывшую жену. Опубликовать это в печати». Железные люди оставили не детей, а *потомство*.

Потомство, кто почестней, признавалось: мы ничего не знали, родители молчали, отец клал под подушку пистолет, мне обидно, когда папу называют палачом, – нечего вспомнить, кроме уроков французского на дому, кинозала на даче и тенниса в Серебряном Бору; отцы ни с кем не дружили (обычай дружить семьями появился, когда кончился свет, 5 марта 1953 года), а если доводилось «гостить», отцы прогуливались по дорожкам Горок-(с прибавлением нескольких цифр), следом крались жены с бабскими рассуждениями, а замыкали дети с планами покорения миров. Отцы шли молча – не боясь собеседника, нет, а учитывая слабость человеческого

существа, искривленную памятьливость, способность, открыв рот, отвлечься, ослабеть от грубого словца и зажить чем-то несущественным. Отцы, бредущие по садовой дорожке, ощущали себя звеньями цепи, могучими руками непонятно чего – они не принадлежали себе; в любое мгновение человек, гуляющий с тобой, мог оказаться врагом, но о нем не поручали что-то сообщить, так о чем же говорить? Ведь не о том же, что опоздала весна и как вытянулись дети...

Те из потомства, кого больно царапало клеймо «палач», забыв совесть, катали: «И если бы не сопротивление, которое исподволь, а то и открыто велось отцом против сталинских сатрапов, то не сохранить бы ему душу живую, не выйти после смерти деспота с теми выстрадавшими втайне при нем, поистине демократическими реформами, которые стали первым шагом к краху тоталитарного режима», – про человека, утвердившего автографом не одну тысячу расстрельных списков и задушившего бы сына подушкой за «деспот» и «сатрап».

Не сказав ничего, отцы позволили безнаказанно делать из себя все, что угодно, и сын Лаврентия Берии написал об отце обаятельную книгу: добродушный человек, преданный семьянин (фигурировавший на суде список из полутора сот любовниц – всего лишь прикрытие агентурной работы), политик, мечтавший, чтоб было поменьше крови, а помыслы и приказы его извращали – и все достаточно убедительно, опираясь на известные бумаги и неоспоримые факты.

Даже дочь императора, когда потребовались деньги: жрать что-то надо, одеваться, дитя кормить, я сама еще молодая и желания имею, – догулялась до того, что продала за доллары с груди нательный крестик с хорошим разгоном: «Я могу написать о своей жизни в доме с отцом в течение двадцати семи лет; о людях, которые были в этом доме или были к нему близки; о всем том, что нас окружало и составляло уклад жизни; о том, какие разные люди и какие разные стремления боролись в этом укладе». Ты это знаешь? ну, напиши! – а она давила, давила, жала из себя и смогла надоить лишь на тощую книжку пустот: три совместных обеда, две ссоры, несколько сплетен (после смерти отца мне рассказывали...), подробнейшее описание няни и собственной первой любви; еще бессильное разглядывание фотографий (ну хоть что-то вспомнить на продажу, вот! – «Киров в сорочке, в чувяках»), цитирование писем императора к «Сетанке» младенческих времен и хлипкая, общая для потомства идея: Берия – вот кто во всем виноват, играл, как хотел, стареньким папой. Прожила она (как и все потомство, сверстники В. Шахурина и Н. Уманской) слепо, как глубоководная, пещерная рыба, погруженная в собственную сытную жизнь, не заметив войны и простонародья, утопая в пошлости: «... откуда это во мне такая любовь к России?», с прибавлением: «А мы варвары, каких не сыщешь нигде», с омерзительными прибаутками: «Разве быть честным, порядочным человеком в наше время – не подвиг?»

Один читатель-американец захлопнул книгу с разочарованным итогом: «По прочтении ее кремлевские стены не падут».

Вот. Вот это: они никогда не падут. Так все подстроено.

Дежурная по залу тихонько прочистила горло и попросила сдавать книги, кивнув на настенные часовые стрелки. Я поднялся и, складывая тяжелые, пыльные стопки, признавался себе: мы бессильны даже в установлении милицейских подробностей: десять минут агонии императора на кунцевской даче при шести (самое меньшее) совершеннолетних цепенеющих свидетелях не поддаются достоверному воспроизводству. Подзывал ли прощаться? кивал ли Булганину: «отойди»? задержал ли в длани палыцы Маленкова? Произнес или не произнес император, черт возьми, «Дз-з-зы...»? Бормотали: «Что они со мной сделали?». Целовал ли его «монстр», «палач», «хамелеон», «врожденный садист», «упырь», «один из самых знаменитых в истории злодеев» Берия? Бредил ли: «К Ильичу...»? Верно ли, что по-волчьи улыбнулся? Дал ли ему ложку бульона Ворошилов? отвернулся ли от Хрущева? обвинил ли в отравлении Молотова? Просил ли открыть двери: мне душно? Вообще – приходил ли в сознание? Да и кто

там присутствовал поименно? И наконец – откуда достовернейшие сведения, будто император, отходя, широко перекрестился на икону – откуда икона на кунцевской даче?! Ничего из этого (вообще из *всего этого*) не является тем, что случилось на самом деле.

Отказ от личной правды, отпечатка собственной пятки на мокром песке обернулся сверхъестественной душевнобольной покладистостью – сотни тысяч революционных бойцов подтверждали убогие, позорные, сочиненные дебилами обвинения, не сомневаясь, что подтверждают собственную смерть; подписывали все и показывали (кое-кто на гласном суде и при иностранной публике, подъехавшей глянуть на русскую корриду), расширяя размеры покоса, сообщая следствию новые имена. Никто не бежал с подложными документами в тайгу, не скрывался в скитах, не отстреливался, перебегая от окошка к окошку, вспомнив навыки подпольной работы и Гражданской войны; все (кроме редких самоубийц) всё знали и ничего не боялись; сидели и ждали забирающих шагов, чтобы все, что скажут, исполнить и сохранить свою причастность к Абсолютной Силе, дававшую им сильнейшее ощущение... чего? мне кажется – бессмертия. И только по недомыслию можно сказать, что прожили они в оковах. Они прожили со смыслом. Определенным им смыслом. И выпадение из него было большим, чем смерть, – космической пылью, Абсолютным Небытием, а про *Абсолютное* империя дала им четкое представление.

Быдло знает – *пытки*, их просто запытали, били; слаб, животен человечиска, когда каблуком-то по пальцам и недельку не поспать... Но наступает мгновение, когда трехминутный суд позади, когда между человеком и землей остается – ничто, клочок воздуха для не слышных никому слов, а они кричали: «Да здравствует Сталин!» И жестокосердый нарком Николай Иванович Ежов по пути *туда* запел «Интернационал», а несгибаемый Абакумов после трех месяцев в кандалах в камере-холодильнике вскричал навстречу летящим пулям: «Я все напишу в Политбюро!» А Николай Иванович Бухарин, отправивший императору из камеры пятьдесят любовных писем (никому не дали так основательно подготовиться к смерти, обдумать ее), опустил руки и что же? «...Я пишу и плачу, мне уже ничего не нужно... Но я готовлюсь душевно к уходу от земной юдоли, и нет во мне по отношению к вам, и к партии, и ко всему делу ничего, кроме великой и безграничной любви». Не поверить в искренность его у кого хватит сил?

Один Зиновьев (по легенде) на пороге подвала вдруг поднял руки: «Услышь меня, Израиль, наш Бог есть Бог единый» – императору в лицах представляли эту сценку, и зрители смеялись до слез.

Сверхпроводимость – вот что они должны были исполнять и исполняли. Гони по цепи имперскую волю, не становись для нее преградой, а напротив, разгоняй и усиливай своим существом – это едино понимали и наркомы, и пехотинцы.

Ну, оставим; человеки, переставшие говорить свое и писать свое, видимо, и мыслят как-то иначе, в этом, я думаю, должны разобраться нейропсихиатры и социо-педагоги. Меня и насшибко коснулась другая их развившаяся мозговая особенность: сталинские соколы, железные люди разучились *запоминать*. Нельзя сказать: они не помнили ничего, – своей собственной жизни они не помнили.

Когда их начинали трясти, напоминать, старики и старухи морщились, словно что-то мелькало там, вон там перед их глазами с назойливостью лесной мошкар; они всматривались, вытирая засочившуюся влагу, всматривались, но – нет. Там их нет. Они себя не видят.

Ничтожное происшествие (убили, любовь, летом тыщдевятсотсороктретьего года) – вот что занимало нас, с их точки зрения. Первые годы я думал иногда: был бы жив император... Позже понял: и он бы не вспомнил. Дела Уманской для него не существовало, про такое император говорил: «Это для баб».

Я бросил галерное весло, полистал еще газеты на выходе, оглядываясь на расходящихся студенток и аспиранток: на трусы, мерцавшие сквозь юбки, на груди, свободно раздваивающиеся на виду, на черные кружева, на весомое колыханье ягодич. Газетное чтение полностью

убедило меня в собственной никчемности. От библиотеки вниз, направо к метро «Китай-город», еще налево и вниз – я завернул в «Зарядье» на ближайший фильм, где раздевались; я часто заходил сюда и даже узнавал некоторых актрис: вот эта в «Порочных служанках» мелькала на задах, а в «Опасностях соблазна» уже за главную. Фильмы утоляли, словно утомляли, поменьше хотелось всех.

Билетерша надорвала и вернула билет, я скомкал его и выбросил в проходе между креслами (в зал всегда пробирался последним, как только гас свет), чтоб не оставить в кармане; вытащил из сумки бутылку выжатого апельсинового сока и выпил всю. Народу немного, я уже изучил публику: расставшиеся с надеждами женщины, приезжие, не знавшие куда себя деть, быдло с пьяной отрыжкой – я сидел один посреди ряда, смотрел на экран и ждал наступления момента, когда все бабы по разу разденутся и покажут себя со всех сторон. Обычно это происходило минут через сорок, я сразу вставал и уходил. Чтобы не столкнуться ни с кем на выходе, когда включают свет.

Куйбышев, Куйбышева

А-свидетель: Володя легко увлекал людей, особенно людей более низкого происхождения, кому полагалось легко увлекаться.

Б-свидетель: К Шахурину меня привозили как игрушку, я знал – мой долг по первому приглашению ехать к нему на дачу. Мы учились в одном классе, отец мой работал заместителем наркома, но учитель математики Гурвиц (мы звали его Юлик) однажды внимательно взглянул на меня и произнес по-латыни: «То, что положено Юпитеру, то не положено быку», – и я понял свое место. Пошел учеником на авиазавод и не заикался о собственном мотоцикле. Когда у Володи и Ваню Микояна появились «Харлеи», отец мог бы и мне достать мотоцикл, но он крестьянским чутьем понимал свою меру и из всех привилегий пользовался одной – абонементом на два места на «Динамо».

Члена Политбюро от секретаря ЦК отделяла пропасть. Между наркомом и заместителем наркома – такая же пропасть. И такое же разделение, хоть и незримо, шло между детьми. Дело не в размерах квартир, а в чем-то более существенном.

Отец мой молчал до смерти, а все написанное – рвал.

Самое сильное впечатление моей жизни – парад первых реактивных самолетов. Над Красной площадью пронеслось пятнадцать «МиГов» и «ЯКов». На случай катастрофы неподалеку от праздничных трибун авиаконструкторов ждали машины с конвоем.

Володя – блондинистый, волнистые волосы, очень голубые глаза. Он слегка заикался.

А-свидетель: Притащил меня на чердак и показал на кирпичную стену: за ней есть клад! Давай! Ломами били, били, выламывали кирпичи – во-от такая дыра получилась, а за ней – нету клада, улица! Только спустились во двор, Алексей Иванович навстречу, и – не говоря ни слова, ничего еще не зная про дыру, просто увидев, что мы в пыли, со всего размаха отвесил сыну пощечину! А меня тотчас отправили домой.

Предварительная проверка 175-й школы установила лиц, предположительно являвшихся одноклассниками Шахурина В.: Лозовская Г., Барышенкова Юлия, Уманская, Артем Рафаилович Хмельницкий, Кузнецов, Стрельцова, Хххххх, «Ленька» Реденс, Светлана Молотова, Бакулев, Барабанов, Хрулев (?), Кирпичников, Куйбышева, Г. Романов, Болотовский, Борисов Анат., Скрябин Влад (?).

Директор школы: Леонова Ольга Федоровна, депутат Верховного Совета СССР, награждена орденом Трудового Красного Знамени.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.